

Василий Лабецкий

САДЫ ЯБОНЕВНИ



Москва
2016

УДК 82-311.2(02.055.2)
ББК 84(2Рос=Рус)6-44
Л12

Лабецкий, В. П.

Л12 Сады Ябоневни / В. П. Лабецкий. — М. : В. П. Лабецкий, 2016. — 144 с.

ISBN 978-5-600-01526-5

«Сады Ябоневни» — сюрреалистичная интеллектуальная проза на границе жанров «любовная история» и «отчет о путешествии» — уводит читателя в пространство, где красота реального мира сплетается с жутковатыми чудесами бессознательного.

УДК 82-311.2(02.055.2)
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

BIC FRD
BISAC FIC027000

ISBN 978-5-600-01526-5

© Лабецкий В. П., 2016

ЗОЛОТОЙ ПЕСОК НА ДНЕ

Мы видели сон о полупризрачной старухе, которая постепенно, как летом заходит солнце, впускала в себя смерть. Она отдавала остатки реальности снам, отдавала воспоминания реальности, мы снились ей, и в этом была тайна.

Помню, ты чувствовала себя неудобно, и я предложил тебе побыть в комнате для гостей.

Пока я возился на кухне, старуха задремала. Я принес ей заряженный кетоналом шприц, и она сказала, просыпаясь:

— Я и забыла, что вы здесь.

После укола она легла на кровать и погрузилась в свои видения. Когда я зашел в комнату для гостей, было уже темно. Я закрыл дверь, и, как только щелкнул замок, старуха перестала существовать. Я разделся и лег, прислушиваясь к твоему дыханию. По твоему дыханию я знал, спишь ты или нет. Знал, ждешь ли ты прикосновения, и ты ждала. Черно-белые верхушки берез, замершие перед окнами восьмого этажа, тоже чего-то ждали. Чуть в отдалении в ночное небо взмывал каскад из девятиэтажных зданий, деревьев и заснеженных холмов. Мир за окнами был полон волшебного

призрачного света и смотрел на нас как огромное живое существо в короне из цементных блоков, фонарей и антенн. Ты лежала рядом, и комната была не просто четырьмя стенами и окном, она была сумеречной сценой, куда заглядывало это странное существо. У него не было стыда, не было морали, не было правильного или неправильного, и мы совсем не стеснялись его присутствия. Твоя молодость, желание и то, о чем говорило твое дыхание... в этом была сама жизнь, бесконечное повторение всего, таинственный сверхритм. И старуха, которая спит в соседней комнате и видит сон о молодости, и мы, которым снится старость, открывающая врата в потусторонний мир, и мать-волчица, вскормившая человека, и старуха-людоедка с бородой, пожирающая своих детей. Падшие ангелы на наших глазах вступают в интимную связь с ее дочерьми, прельстившись изменчивой красотой. Рефаимы смотрят из-под темной воды. Мы смеемся над ними и гладим друг другу руки. Я пытаюсь сказать тебе что-то очень важное, но не могу, и говорю только, что в моем путаном потоке слов скрыт Бог, как золотой песок на дне реки. Он как сокол над зимними полями, улетевший на юг. Как призрак сокола над зимними полями, летит он или нет до сих пор там, где я его видел, или это воспоминания о нем накладываются на чистейшее голубое небо, на пасмурное зимнее небо, на

ночное небо без конца и края, рассыпавшееся звездами в окне, перед которым стоит Лара Ратчадемноен.

Лара любит море, и море внутри нее, и оно катит свои воды сквозь время, и эти поля, сокол, замершие березы вдруг разволновались, холмы притихли, замерли, как жемчуга на дне. А течения этого моря волнуют березы, волнуют сокола, волнуют жемчуга, и сердце мое тоже волнуют. И иногда у Лары прибой внутри, и она как бы волнуется.

Лунный свет пробивается сквозь облака, снег на полях блестит, и эта тончайшая игра света и тени приводит в движение мир, который бьется мне в сердце, бьется в сердце Лары, и кто угодно здесь разволнуется.

Ее слова — как блестящие рыбы на мелководье:

— Что-то не так, Даня? Тебя что-то беспокоит?

— Все в порядке.

А про себя думаю... Нет, нет. Ничего я не думаю, потому что сердце внутри — как ветряной генератор на каменистом холме у моря, крутится без конца под этим ветром, и облака с моря бегут и бегут, и бежит узор теней от облаков по воде. Все это происходит в таком месте, где даже не знаешь названия деревьев и просто говоришь «дерево», и видишь просто дерево, и не знаешь, как оно цветет. И даже если найдешь имя этого дерева на анг-

лийском или на латыни, то это не то дерево, о котором знают местные, потому что у местных кругом духи предков, ветра и земли, и странные обезьяноподобные существа, и королевы змей, и скорпионы рядом с золотыми безмолвными буддами. Ночь прохладна и тиха, остывающий асфальт отдает накопленное за день тепло, и дикие бирманцы гастарбайтеры смеются, сидя в кузове пикапа, и цветы с «дерева» падают на них, и запах этих цветов сладкий и медвяный, а цветы такие огромные, с кулак почти, и такие совершенно красивые, что кажется, будто не настоящие, а вроде восковой муляж. Ищешь потом в Интернете, и оказывается, что имя — плюмерия, а как на языке, который знает душу цветка, не знаю.

А здесь, где Ратчадемноен стоит перед темным небом, заснеженные холмы для меня полны смысла, и березы полны, и чернотелая липа в золотых сережках, которая столько раз раздевалась для меня — скидывала свои золотые листья, — и созвездия над ней кружились. Я знаю многое о жизни этих холмов, деревьев и созвездий, поэтому они мне родные, и когда-нибудь я умру вместе с ними, чтобы потом родиться вновь.

ПОЕЗДА

Солнце клонится к закату, смех стихает, и снег тает на твоих темно-синих джинсах и шерстяных гетрах, которые доходят почти до колен. Ты видишь, как вспыхивает золотом то один дом, то другой, а то вообще все весеннее небо загорится, и Бог пошлет смеющегося ангела, чтобы обо всем рассказать.

Когда между двумя любовь, то все озаряется, и можно ждать всю жизнь и не дожидаться этого чуда, а можно просто любить и любить постоянно.

Такая же весна, как тысячи лет назад. Весна, как в детстве. Весна, как в любой счастливой семье в любое время на этой земле. И кажется, что в садах под звездами уже цветут яблони — белые лепестки падают на деревянные доски стола, краска облупилась, дырка от сучка, забытый на ночь граненый стакан на треть полон дождевой водой.

— У моего деда были татуировки.

— У моего тоже. Твой сидел, наверное?

— Нет. В армии. А твой?

— Мой сидел.

Профиль первой жены расплылся синевой на предплечье, череп с костями на запястье: не забудем, не простим, смерть легавым от ножа. Был

в плену во Франции. Потом в плену на Колыме. Продавал свои ордена на рынке. Торговал книгами в поездах. Знаешь, такие пригородные поезда, полупустые, с желтыми окнами, несущиеся сквозь заснеженные поля. Внутри дембеля, цыгане, китайцы, вообще не умеющие читать. Там же Акутагава Рюноске и девочка с мандаринами. Там где-то Лара Ратчадемноен и Даня Нараян едут домой, и одинокая Ратчадемноен едет к Дане Нараяну, и ее забирает со станции поезд, весь в морозном тумане и снежной пыли. Поезд-призрак с желтыми глазами-окнами. На нем ты едешь-едешь, и все пассажиры — призраки, и контролеры призраки, и дома за окнами тоже ненастоящие, призрачные, и свет в них ненастоящий, и кухни все пустые, как пусты полустанки, и станции, и поезда, и квартира Дани Нараяна. И сам он потерялся в бесконечных скитаниях, отрастил рыжую бороду, набил сумку для лэптопа сухарями, а лэптоп оставил в индийском аэропорту, или нет, в китайском, где на досмотре чуть ли не догола раздевают, и черт с ним, с лэптопом этим, — сухари в сумке, седина в рыжей бороде, круги под глазами, мобильный телефон всем отвечает, что абонент покинул зону доступа и зависает где-то в Бангкоке на пересечении веток метро, на станции Мо-чит в 5:24 утра, между эмалированным столиком-кухней и закрытыми турникетами, и его тошнит от голода и вы-

куренных сигарет. Окна тридцатиэтажных зданий горят до сих пор, и непонятно, недавно они зажглись или вообще не гасли всю ночь, и машины внизу режут своими моторами.

Лара Ратчадемноен где-то далеко, а вместо нее какая-то непонятная деваха, которая пьет из горла весенние ночи, сидя на корточках в темном, продувном пространстве, крича от восторженного, грубого качева, токсиномикона и гормонопокалипсиса.

Здесь, в городе тайских ангелов, в помине нет соколов, только какие-то коричневые сороки и майны с желтыми клювами, кричащие так, что оглохнуть можно. Темные тротуары пусты, и только машины несутся сплошным потоком, а ты покупаешь сигареты White temple или на худой конец красный SMS в 7-eleven и думаешь о смерти, но не только потому, что сигареты на вкус такие стремные, просто смерть — это то солнце, которое отбрасывает тень от сокола, парящего в зимнем небе. Отбрасывает куда-то в безвременье, где нет движения и где Даня Нараян проснется другим человеком, с другим именем, в другой стране, а рядом будет другая Ратчадемноен. Другая, но та же самая.

Смерть — это когда ты думаешь о том, что ты тень птицы, улетевшей на юг, но оставшейся на зимнем небе вместе с солнцем, ушедшим на юг вместе с птицей.

КОНЕЦ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ ВЕТКИ

Едешь в пригородном поезде, переполненном студентами и школьниками, смешливыми, крикливыми и жестокими, а ты даже глаз не можешь поднять, так тебя придавило, и железнодорожный мост мелькает своими косыми железными ребрами, и после него поезд сворачивает не на ту ветку, которая ведет неизвестно куда. За окнами мелькают старые почерневшие дома с облупившимися резными наличниками и бетонные, вывороченные из земли конструкции. Но вот приближается лес, и в нем под медными соснами черемуха, рябина и еще какие-то кусты, а под ними гранитные камни с фотографиями — лица смотрят с замутненных снимков, как рефаимы из-под темной воды, рядом кресты и такие пирамидки из железных прутьев, вроде римских фасций, а между ними притаился ангел или стоит какой-нибудь обелиск. Еще ниже — раздавленные доски гробов и волосы, разбросанные по обнажившимся ключицам, обручальные кольца на костяных пальцах, в которых зажаты мобильные телефоны — вдруг на том свете пригодятся?

— Как ваши соседи? Не шумели в пятницу? Не сорились? Кроты и землеройки не тревожили?

— Нет, нет. Все тихо. Прорастали сиренью из теплой, оттаявшей почвы, бессмертником и разбитым сердцем, ландышами качались. Ветер давеча деревья заволновал, и дерево — бдыщ! — корни наружу, и цветы пластмассовые с венками врассыпную, а под ними смотрят пустыми глазами, и улыбка с лиц не сходит, и, пока никто не видит, они становятся сиренью и черемухой, и птицы на них садятся — сойки всякие и соловьи.

— Даня, ты слышал соловья?

— Ну да. Обычная птичка. Вообще незаметная. И поет не очень.

А вот еще приходит какой-то и читает стихи про любовь. Его слушают из-под земли без ушей без всяких, потому что их уши — это волнующиеся ветви, и травы, и мох на могильных холмиках, и лилии при луне, и ночная свеча, которая ночью распускается, а потом свои лепестки складывает и такая как свеча становится.

А вот еще женщина какая-то идет, и грудь у нее колышется немного, и волосы выются, и она детей за руки держит (мальчика и девочку), а сама беременна, но непонятно, давно ли, и вообще, может, у нее не в матке ребенок, а в сердце, и не ребенок вовсе, а стихи о любви, которые кто-то прочел, и может быть даже она сама эти стихи придумала

САДЫ ЯБОНЕВНИ

и несет, но сказать пока не может, потому что воды еще не отошли, и воды эти как тот океан из снов Ратчадемноен, а женщина могла быть вообще бесплодной, и дети ее призраки, которые на поезде катались, потому что что за дети у бесплодной женщины? И что за любовь? Но любовь-то самая настоящая. А все эти — под сиренью и крестами, — у каждого свои истории и мечты, но многие навсегда забыты.

Когда живешь мечтой, историей или красотой, не значит ли, что ты уязвим или вообще ни на что не годен, или мечтать — это естественно для человека, и тот, кто разучился мечтать, становится жадным и жестоким.

ЗОЛОТАЯ ОРДА

У нас дома играет музыка и света много. С улицы пахнет весной.

Пространство вокруг постепенно наполняется чудесами, как если бы мы проснулись в семи километрах от Великого шелкового пути, и ветер бросал бы песок в закрытые ставни узорчатого дворца, где арабские мудрецы и резчики по камню высекли над каждым окном геометрические орнаменты, в которых застыло величие Божье, и за этими окнами мужской зычный голос возвещает, что Бог един и велик.

На блюдах рядом с подушками и шелками финики и драгоценная вода в глиняном кувшине, и небо, полное звезд, заглядывает в щели закрытых ставен. Но вот шелка превращаются в простыни, купленные на распродаже, а вместо резных оконных проемов — белые рамы пластиковых окон. Но небо-то — и правда полное звезд — светлеет постепенно, и такого светлого неба нет нигде: ни в одном оазисе, потому что до них три дня пути на машине на юг, в сторону экватора. Если поедешь туда, знай, что температура скакнет вверх примерно в том месте, где в дерев-

нях вдоль дорог растут пирамидальные тополя и луна бледным полукругом проступает на синем небе. Рядом с машиной будут виться сарычи — парить и пикировать вниз над коричневой степью с красноватыми внутренностями, вываливающимися из оврагов и обрывов. Ты увидишь кладбища со сводчатыми мазарами, и еще реки особого цвета — как бирюза, немного белесые от мела или извести, — и радуги будут рядом с водопадами, и яблоневые сады в каждой деревне. А чуть южнее на восток будут горы и пустыня — одна из самых больших, — и в ней оазисы с пещерами, где тысячи буддийских статуй излучают нездешнее спокойствие. Еще южнее — белые горы, за которыми горы еще белее, а дальше Бирма и Северный Таиланд, где в обширных долинах от жары опадают широколиственные леса, а в горах у водопадов воздух дышит прохладой. Дальше на юг двигаться не будем, потому что хочется уже сидеть в кафе, в удобных креслах, и пить кофе, размешивая коричневый сахар палочкой из коричной коры, которая чуть сладковата на вкус и вяжет во рту приятно. Сидеть на подушках, слушать, как шелестит бамбук за окнами второго этажа, и с недоумением поглядывать на пожилых европейцев, которые высказывают официанту, что кофе хотелось бы погорячей — принесите, дескать, другой, — и официант согласится с ними,

кивнет вежливо, принесет другой кофе, а вечером переоденется в шорты и растянутую выгоревшую футболку и вернется к себе в деревню, где до сих пор среди алых цветочных полей старики курят длинные трубки. Впрочем, если даже и не курят и нет у него родственников, которые стреляли когда-то в китайцев в джунглях, то все равно его семья поклоняется своим богам, и духам предков, и королевам змей, и господу Будде. И у деда-то уж точно все тело в шрамах и татуировках, и он седой, серьезный и молчаливый, и не нравятся ему ни кафе, ни супермаркеты, потому что зачем ему эти удобства, когда он может говорить с духами и связан с ними белой нитью *сад син*, и горы, водопады, лес — все шепчет ему о красоте, и душа его успокаивается. Даже если его усаживают в машину — какой-нибудь огромный блестящий пикап, — то он, дед этот, как гость из прошлого, ожившая история семьи и страны: краска выбитых на коже палийских текстов поплыла немного, а сам дед твердый, как высушенное дерево, и тайцы кланяются ему при встрече, складывая руки лодочкой, так, что кончики указательных пальцев касаются лба, — жест, выражающий глубочайшее почтение, потому что есть здесь что уважать. Тайцы вообще очень вежливые — и к путешественникам, и вообще. Монголы тоже вежливые, чтобы друг друга не поубивать, и иногда смотришь

на людей — они все как монголы средневековые, и мы с Ларой, бывает, тоже — я сделаю опять все не так, а она как кружкой в стену с размаху кинет (хорошо, что у меня кружки из путешествий все железные). И мы начинаем друг друга в рабство угонять, как те монголы — у одного глаз посреди лба, но как бы непонятно, есть ли еще два нормальных или он как циклоп одноглазый, — думаю, что есть, и он просто видит на три кочевья вперед, то есть ясновидящий, и мы с Ратчадемноен тоже ясновидящие. Она через сны видит, а я иногда знаю просто, что будет, и сердце мое успокаивается. Утиный пух летит по степи, как снег, но осень еще не такая поздняя, чтобы снег шел, а это охотник-сокол бьет этих бедных уток, и они гниют на камнях, или где там еще в степи их можно развешать, чтобы подвялились. А потом этот монгол, который к другим монголам ходил кумыс пить, говорит со своими братьями, а те его дурачком называют, потому что можно-то, оказывается, не только кумыса у них напиться, но и все добро их забрать и самих в рабство увести. И вот, вместо того чтобы жить с легкой душой, мы, как монголы средневековые, готовы весь мир завоевать и всех ограбить — и выяснить, кто самый гордый, самый сильный и самый одинокий, как дерево в степи или как одинокая гора, и дойти в своей гордости до Бирмы и Лаоса, где умереть

ВАСИЛИЙ ЛАБЕЦКИЙ

от малярии или опиума, или просто бирманцы убьют. Создать там свою Золотую Орду и пировать, пока подагра или цирроз не dokonают. Зато быть как Чингисхан — великий завоеватель, которому так не хватало любви и тепла, особенно в детстве, и жизнь его вытеснила куда-то — то ли к величию духа, то ли к великому психозу, — но никто не будет спорить, что страдал он много.

КИТАЙСКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ

Страдал, как, бывает, страдают люди на пустых перронах, когда звезды и небо слепнут от огней города, и последние ларьки, билетные кассы и табачные лавчонки закрываются, и пропускной пункт угрюмый и темный, и перрон такой пустой, как пуста зимняя сибирская степь под луной. Вокруг никого, и кажется, что одиночество распространяется от этого перрона на весь город, как наркоз расходится по кругам кровообращения, гася последние нервные импульсы. И вот, пустой, притихший и всеми покинутый город как бы рассечен рельсами, и движущийся по ним поезд вырывается из его вспоротого чрева, как кровь или крик, и собирает все цвета, движение и последнее тепло из оставшегося в статике и холоде окружающего пространства. Поезд везет в себе обособленные реальности полупустых вагонов — средоточие тепла и света, где только жизнь и возможна. Вокруг — пустыня реальности, в окнах — отражения самого же вагона, а за ними, как за призрачной пеленой, холодный бесцветный мир, и только свет из вагона делает его реальным. В вагон раз в полчаса заходит человек, и его не видно прямо, прос-

то что-то скользнуло в отражениях — какая-то фигура. И может быть, это сама Лара Ратчадемноен, но она почему-то обиделась на Даню Нараяна или забыла вообще, как его зовут и кто он такой, и смотрит без ненависти, без любви, как будто сквозь него, а он узнает ее в бесконечных отражениях, но стесняется подойти и познакомиться с ней в этот глухой поздний час. Она как будто умерла и родилась вновь, но в этой жизни нет тех сил, которые свели их вместе, и у него открылся портал в прошлую жизнь, а у нее нет, и Даня Нараян в один момент увидел прошлую жизнь Лары Ратчадемноен, а она видит только пустой вагон и не видит ни Китая с его ступенчатыми рисовыми террасами, ни скал-столбов, покрытых деревьями, чьи корни упираются в ракушки и скелеты глубоководных рыб, вросших в мел. А Даня Нараян вовсе не Даня Нараян, и зовут его Цзяо Жань, и он идет, согнувшись от холода под зимними ветрами, стучится в закрытые двери и окна, и ему наконец открывают в доме, где Ратчадемноен как солнечный свет — с узкими красивыми глазами и аккуратным ртом, — и зовут ее Юй Вэнься, ах, да, шея у нее еще очень изящная и ключицы красивые. И она поглядывает на Цзяо Жана, но он — бродяга какой-то, святой бродяжка, который подкладывает цветы, упавшие с деревьев, к ногам статуи Гуань-инь, а Юй Вэнься окружена своей семьей — окружена-согрета. А потом прихо-

дят варвары, от которых пахнет железом, кровью, пожаром, конским потом и бараньей шерстью, и косы у мужчин черные, и халаты такие стеганые. Железный круговорот уносит Цзяо Жаня, и Юй Вэнься вынуждена танцевать с кривыми саблями, хотя ей хотелось бы смотреть, как всходит рис, и горят красные праздничные фонарики, и рододендроны цветут.

И вот поезд останавливается на пустом полустанке, а вокруг тишина и холод, и Даня вспоминает, что Лара ждет его дома: в конце железнодорожной ветки, где холмы встречаются с небом, а добропорядочные граждане закрылись в своих домах и поглядывают на свои машины под окнами — просто любят и чувствуют себя как те китайцы, которые открыли двери для Цзяо Жаня, а про варваров не знают ничего. Ратчадемное посадила в бумажных горшочках васильки, и, о чудо, они взошли — маленькие, нежные росточки, некоторые в шапочках проросших семян, — это васильки-то, у них шапочка, как шипастая корона, и эта корона прикрывает нежные молодые листики.

Здесь тебе и чудо, и иллюзия: смотришь утром в окно, поверх стаканов с землей, — видишь светящее небо, видишь безымянного неизречимого доброго Бога, который подмигивает тебе, заставляет поволноваться в своем круговороте, а потом

опускает на тебя покрывало спокойствия, и твоя душа прорастает в небо, как семечко, укрытое землей. Ты в последний раз видишь солнце, месяц, звезды, спокойно идущие по небу. Почему-то вспоминаются секретники-золотинки в только что оттаявшей из-под снега земле — крохотные окошечки из стеклышек, присыпанные черной землей, под которыми ямка с секретиком, — или вспоминается первый в жизни подснежник, найденный на опушке березового светлого леса, пока взрослые жарят шашлык или смотрят где-нибудь телевизор, а потом — не успеешь оглянуться — рассованы по квартирам-клетушкам, стареющим также быстро, как и их хозяева с седыми волосами и печальным взглядом. Дети выросли и разъехались, телевизор и газеты надоели, климакс давно прошел и давно уже не стоит, и это кажется страшным, но это не страшно, просто как-то по-бюргерски — тихая жизнь, где почти нет боли и любви.

ВЛАДЫКА СМЕРТИ

И вот уже Владыка смерти лежит сзади, обняв тебя за плечи и талию. От его дыхания волосы седеют и блестят на висках как снег. Владыка смерти забирает память и заставляет путать слова, и ты планируешь сходить в туалет, а потом пожарить колбаски, — и вот тебе на! — обступили какие-то голые люди в красных масках, маски страшные, пропали люди, появилась мать-покойница почему-то с красными волосами, а потом ноги отказали, и ты падаешь, словно летишь, целую вечность и никогда не коснешься пола, и в этом полете сходятся воедино прошлое, настоящее и будущее, и исчезает время, и ты сидишь часами, превозмогая боль, глядя в одну точку, и несделанное или сделанное, но не так не дает тебе покоя. Тебя окружили призраки, дом полон ими, и ты не можешь заснуть, а ветер гремит балконами и хлопает форточками, и свет мигает, а ты даже не можешь накрыть свое щедрое тело одеялом, потому что ни одеяла, ни тела нет, и как ходить без ног — непонятно, и что делать с этими призраками — тоже. Ни глаз, ни ушей, ни солнца, ни луны. Сундук мертвеца — твоя кровать, а снег — твое одеяло,

и старая швейная машинка «Баттерфляй» сшивает холст жизни с холстом смерти, шелестя несмазан-ными суставами, используя тягучее время вместо ниток. Балкон перестает громыхать гофрированным железом, за стеной замолкают соседи, застыв как мумии с оскаленными зубами в мертвенном свете телевизора, и телефон перестает звонить, навсегда растеряв голоса старух и соцработников.

Куда полетит душа-птица, вылупившаяся из те-ла-яйца?

Ведь если нет Бога или богов, если не о чем го-ворить, кроме как о еде, куда она полетит?

Может быть, к холодильнику и будет биться с налету в белую дверь, как в ворота рая, или это всего лишь видимость, а тайна скрыта в темноте и одиночестве — в лежании часами перед окнами восьмого этажа, когда ты вслушиваешься в вой ветра, не осмеливаясь включить телевизор. Куда можно отправиться, когда птица, бьющаяся в груд-ной клетке, получит свободу? К ступе Боудданатх, или на вершину Аннапурны, или к могильным камням Ноин-Ула? Соединится ли маленькая де-вочка с седой старухой, у которой во взгляде смер-тная тоска и боль? Найдут ли они общий язык? Ка-ково это — умирать весной и можно ли все уладить после смерти? Будет ли душа ходить по пустым комнатам, запутается ли она в ловце снов, попьет ли воды, специально оставленной для нее в чашеч-

ках вокруг Боуды, погрееется ли у огонька свечи, поставленной за упокой, согреть ли ее своим взглядом нарисованный отец Серафим или легкой улыбкой слепая женщина, у которой сияние вокруг головы? Обнимет ли ее ангел, укутав крыльями, почувствует ли она запах ладана или можжевельника, услышит ли слова молитвы или будет заглядывать в пустые зеркала и темные окна — и ни света, ни надежды, ни любви — только старые фотографии, пластиковая кукла со стеклянными глазами. Приходят какие-то люди и все забирают.

— Ненавистные чужаки добились своего — выселили из квартиры и убирают фотографии, куклу мою выбросили и холодильник открыли — хитрые, злые. Шныряют, ящик поставили черный и зеркала занавесили.

— О дочь благородной семьи, не бойся и не горюй — ты умерла, ты больше не отбрасываешь тени и не отражаешься в зеркалах. Ни твое тело, ни фотографии, ни кукла, ни квартира, ни холодильник тебе больше не нужны. Ты уходишь обнаженная, с крыльями вместо рук, в сопровождении добрых и злых дел. Если ты видишь свет, иди к нему — это твоя истинная природа. Увидишь ангелов, сияющие крылья, женщину со светлым взглядом, или свою мать, или дочь, или того, кто был тебе дорог, но давно умер, не смущайся и не страшись — это твое сознание и твоя истинная природа.

да. Если увидишь голых людей в красных масках, с бритвами, цепями или арканами из кишков и они закричат: «Бей! «Убей!», не страшись — это тоже ты, узнай в них Сияющую Основу, переодевшихся ангелов и отца Серафима, а нет — беги без оглядки, пролетая сквозь стены, людей и мартовскую ночь — тебе долго еще бежать — жизнь за жизнью, рождаясь снова и снова, возвещая криком о каждом новом круге страдания и темноты.

О, благородная дочь благородной семьи, ты умерла, пусть тебя это не смущает. Твое тело, как семечко василька в шипастой короне, прорастет душой в небо, и кости захрустят, как крабовые клешни, которые вскрывают, достав из супа, сидя вечером на берегу Индийского океана, обнажая белое мясо, и прибой лижет сваи бамбукового настила, на котором разложены подушки и расставлены низенькие столы, и крабы бегают по пляжу, такие же, как в супе, только меньше. И если, о дочь благородной семьи, ты ела когда-нибудь крабов на берегу Индийского океана, то вместе со светом, который брызнет из твоих хрупких костей, исчезнут и твои воспоминания, будут исчислены, взвешены и разделены, и чья-то рука начертит пальцами в воздухе огненный знак.

СТРАННИК

Ты как бы окажешься в снежном поле, и поначалу там будут тропинки и следы от снегоходов и галочки от лап каких-то птиц, а потом и они пропадут, а ты идешь, и наст под тобой не проваливается, снег не прогибается, ландшафт не меняется, как будто ты на месте стоишь. Впереди — черный кот с острой мордой и крысиным хвостом, и он-то следы оставляет, и только он способен тебя вывести, а куда — не понятно, на другую сторону или еще куда.

Хочется скинуть волчью шубу — или это кафтан с воротником из черного меха? — и кофе хочется, и посидеть, но нельзя, потому что это не шуба, а цвет души, и не на чем посидеть в этом поле.

А вдруг это сон или просто накатило что-то, и, типа, загулялся по полям и перелескам, и даже не один, а с любимой Ларой Ратчадемноен, которая как маяк, чтобы Даня Нараян не заблудился, не улетел и не стал бы опять голым галлюцинировать в тесных гостиничных номерах — видеть сны наяву и заглядывать на ту сторону, где черный кот-психопомп ведет душу в Западные Земли. Только пустыня не африканская, не Такла-Ма-

кан и даже не Руб-аль-Хали, как не раз, кстати, бывало, а сибирская пустыня, белая, как одежды Белого Бурхана или старика Ульгения и Юч-Курбустан — трех светлых существ, прикочевавших откуда-то сверху.

И ты с недоумением смотришь на людей, которые строят в этой пустыне дома, прячутся в них и ждут, пока стужа не вытянет последнее тепло изпод пуховых или верблюжьей шерсти одеял, погасит камины, успокоит навсегда собак, запечатает объятия спящих, затуманит и занесет снегом зеркала, испишет окна своей тайнописью, и станет понятно каждому, кто подойдет поближе, что нет в доме ни тепла, ни одной живой души, а только застывшее очарование, синий полумрак и хрупкие, звонкие, как хрусталь, статуи с темно-красным (если смотреть на свет) огнем внутри. И ни одного запаха в морозном воздухе, который покалывает легкие, ни одного звука, кроме звука снежных кристаллов.

Солнышко пригрело, Лара Ратчадемноем потянулась, запела что-то и сказала, что Даня Нараян во сне повернулся и взял ее за руку, а глаз не открыл, потому что предвидел снежную пустыню, и полуразрушенные здания, и завитки огня в мерзлых кирпичных подвалах.

Лара уехала и отправила Дане воздушный поцелуй, а Даня пошел гулять и шел-шел-шел и ду-

мал о странниках. Раньше некоторые решали идти по земле, и у них ничего не было, только сумка с сухарями, и лапти, и рубище с шапкой-ушанкой, и зипунишко, подпоясанный веревкой, но глаза-то светлые, и, кажется, брали бы лошадь или еще что-нибудь, но смысл был в том, что лошадь не нужна, потому что идти — это самое главное. В дороге есть особая красота, и такой бедный никому не нужен: ни зверю, ни разбойнику, только Богу или типа того. И не важно, куда ты идешь, важно, что идешь, и вокруг тебя на многие километры ни одной деревни, ни одного города, только охотники жгут костры в глуши, но и они одинокие, и дальше круга от костра не видят ничего. Только, может быть, чувствуют или предчувствуют, и странника нашего тоже предчувствуют, он как светлое воспоминание пройдет, и звездочка на небе ярче загорится, вспомнится Лара Ратчадемноен, и нежные руки коснутся лба — где-то в прошлом далеко-далеко, в светлом гостиничном номере, в пустой гостинице, куда приехали после полуночи мужчина и женщина, но не скрываясь от кого-то, а чтобы от всего отдохнуть. И ночью окна были темные, и в гостинице никого, и пустая сауна, и бассейн с холодной водой, и душ, а потом они проснулись утром от солнечных лучей, проникших в комнату, и испытали что-то едва уловимое, зачем сюда, в этот мир, обычно приходят, но

редко это удастся получить. Разве что после долгой разлуки, и трудностей, и отчаяния, и такого одиночества, как будто у тебя никогда не было ни дома, ни родителей, ни работы, и даже памяти нет, и языка не знаешь и порядков, не говоря уже о названиях улиц всяких, и нет ни занятия, ни места в жизни, ни любви — и вдруг ты просыпаясь от солнечного света, а рядом с тобой, на чистых белых простынях, спит красивый и желанный человек с самым красивым неповторимым именем, которое если произнесешь — как будто солнце в окно заглядывает, и чай в подстаканнике приносят и целуют в лоб, и что-то давно забытое возвращается.

А потом снова темно кругом, и звезды вверху горят, и костер перед тобой. И свежестью пахнуло, как будто в жаркий день к роднику наклонился, хотя ночь-то холодная — это странник прошел, и в этом его главное назначение, но не все, конечно, поймут. Странник — не бродяга. Это очень разные слова, и бродяга звучит в унисон с человеком, которого в путь гонят беспокойство и нужда, а странник — он везде странный или чужой, как бы не от мира сего. Не от мира сего, ибо его есть Царство, и другого царства нет. Все остальные — это короли обезьян и умывальников начальники — ничего такого. Обезьяны только корону пока не придумали и в яму сажать, поэтому люди

САДЫ ЯБОНЕВНИ

и над ними тоже короли, а еще недавно в метро видел девушку в леопардовом пальто. Казалось бы, куда пошлее и хуже, но на ней неплохо смотрелось, и, похоже, она просто посмеивалась, надевая такое, потому что леопард у наших предков-обезьян самый лютей враг, и девушка эта как бы подсмеивалась над всеми этими обезьяньими королями.

ПУСТЫНЯ ВЫЖИВАНИЯ

Даня Нараян на секундочку остался один и приуныл немного, или, лучше сказать, устал, но не столько физически, сколько душевно, и не в плохом смысле, а в хорошем, будто жизнь прожил и что-то таинственное удалось, что в делах не отображается, а как бы между ними.

Иногда думаешь, страдаешь и чувствуешь, и кажется, что все неправильно, и болит все — тело и душа. А потом — раз, и боль стихла. А ты едешь со своим старым другом в автобусе, и между вами волшебство: вы ни в один шаблон не вписываетесь, и вам хорошо вместе. Ты как бы невзначай говоришь про лето, а вокруг зима, и старый автобус громыкает железным панцирем, и по краям дороги трехметровые сугробы. А ты невзначай говоришь о лете и о колосьях пшеницы с синими цветами васильков, которые запутались в этой волнующейся ниве — непонятно даже, желтой или зеленой, потому что ездил мимо и в июне, и в июле, и в августе, — и сокола летали, и тени их скользили по разбитому асфальту, а дорога словно заброшенная, и кажется, что мир, как мы его знали, кончился — вот об этом говоришь,

а перед вами отец с сыном, и сыну лет двадцать, а отцу, наверное, и того больше. Они из тех, кто слова лишнего не скажет, — суровые очень. Но ты знаешь, что они слышали, о чем ты говоришь, потому что тень сокола в их взглядах скользнула и василек как будто бы блеснул синевой (или показалось?).

Этому всему почти нет места в мире — очень уж он суровый, извините. Только в оазисах иногда отдохнешь от пустыни выживания, недоверия и насилия.

Или, может быть, суровость эта смягчилась со временем, и нет ее, как нет того мира, где выросли Даня Нараян и Лара Ратчадемноен. Нет ни времени-рептилии, пожирающей своих детей, ни трамваев в заброшенном депо, ни леса, где кусты черной вязью заплелись и вороны их пронизывают своими клювами, и одиночества с абстиненцией тоже нет, и слез под душем, когда кровь, например, смываешь или пьяный засыпаешь, а вода ползет вверх. Мир, где насилие пронизывает все и гнездится в каждом, а ты один и не веришь никому, потому что если кто-то хочет казаться добрым — это тревожный знак, потому что каждый знает — не бывает доброты, просто вымутить что-то хочет, жабеныш беспонтовый. И эта пустыня — в ней легко погибнуть,

и каждый ищет свой оазис, особенно если себя хочет сохранить.

Вспомнил вот про южные пустыни и горы белые вдали — огромные такие, — самые большие пусть будут, — и свастики на воротах, хотя едва ли здесь знают, кто такой Гитлер, так же как у нас не все знают про Дипендру и Бирендру. И улицы мелькают в свете фар, а люди разбегаются и прячутся в подворотнях, закрывают лица шарфами, краем платка или хирургической маской, жгут костры из мусора возле домов. И ты думаешь: «Зачем вообще меня занесло в этот мрачный лабиринт? Я ведь не Чокан Валиханов и не Пржевальский — им-то по политическому делу и ордена еще дадут, и памятник поставят, а я-то чего лезу — такой же убогий, как эти люди, которые руки греют у мусорных костров, только еще более одинокий». А потом думаешь о том же Валиханове — как он затосковал сильно и умер в свои тридцать лет, и никакие ордена не спасли, а то, что памятник поставили, это ему, мертвому, все равно уже, и орден тоже все равно, а не все равно ему снежные вершины Тянь-Шаня, Небесных гор, и караван-баши с седой бородой, и кальян у костра на крыше мира тоже не все равно, и прекрасные танцовщицы в Кашгаре, и китайские гостиницы, и вдоль дороги продают острую лапшу

в мясном бульоне — как сотни лет назад, так и сейчас.

Хей, бродяга. Отдохни у нас! Отведай лапши и кальян покури. Здесь сидели Валиханов и Верещагин, а вон там курил Миклухо Маклай и летел с драконами в белые горы Восточного Туркестана — край семи городов, где семь рек слагают озеро, в котором видно дно за много километров, и где замшелые щуки, огромные, как затонувшие корабли, топорщат во все стороны кривые редкие зубы и пучат белесые перламутровые глаза.

Это все не все равно. Кто поверит, что после смерти никто не выслушает твой рассказ? Должно быть какое-то всеблагое существо, которое слушает эти бесконечные истории, перед которыми Шекспир и Достоевский с Толстым просто детский лепет на детсадовском утреннике.

Неужели все эти истории сотрутся, забудутся и памятником над ними будут битые граниты, весенняя грязь и музыка песка и ветра, а орденами — цветы эдельвейсов и бессмертники? Или такой цветок, который вырос когда-то на могиле молодой девушки, умершей раньше времени, а ведь у нее в сердце была драматичная история, и именно поэтому из ее сердца вырос изящный красный цветочек, который приносит забвение и боль снимает. Но за это платишь, потому что

девушка эта, в сердце которой любовь была, сильно страдала и стала ревнивой собственницей. Поэтому бирманцы цветок этот курили-курили на реке Меконг, и тайцы на реке Пинг, и подсаживались — худые все такие, почерневшие, — и китайцы подсаживались, а англичане почти не подсаживались — они в промышленных масштабах эксплуатировали разбитое сердце этой девушки, пользуясь ее горем и горем других людей. Вот они какие, англичане эти хитрые.

ДЕНЬ ИМЕНИННИКА

И пока у тебя в сердце есть своя невероятная история, садись на мотоцикл, надевай шлем и, постепенно переключая скорости — коробка будет щелкать под ногой, — гони по прямой, обгоняя грузовики и тайских фермеров. Потом езжай на средней скорости по извилистому горному серпантину, и женские руки чтобы обнимали за талию.

— Лара, не виляй попой под музыку — рулить мешаешь.

В наушниках не слышит...

И летишь вперед к водопадам и облакам, где после пересохших рисовых полей и облетевших от жары лесов, после выжженных солнцем скал и жареной красноватой пыли, после этого так приятно стоять в прохладной пелене брызг у ревущего водопада.

Так же и любовь в этом мире не привычка людей друг к другу, потому что у них, дескать, трое детей и он ее кормит, потому что она ему еду готовит, и они не поссорились даже ни разу. А любовь — это когда ты шел-шел через жаркие предгорья, и цепи огня ползли по склонам, и ты задышался от дыма и молил небо о дожде, а потом сел на мотоцикл и помчался, остановившись только

раз у 7-eleven, чтобы купить сигарет, а потом оказался в самой высокой точке страны, в ветреном храме, и тебе даже холодно немного с непривычки, но в целом хорошо, и душа твоя отдыхает. А потом приходит сезон дождей, и любовь становится огромной, как небо, но об этом не рассказать, как Валиханову уже не рассказать о тридцать первом году жизни, потому что нет у него этого года, и его душа заглядывает в незамерзающий Иссык-Куль и видит замшелых щук с перламутровыми глазами и погибший город, который был затоплен по воле Аллаха через один-единственный колодец, откуда вода начала бить фонтаном. Заглядывает и думает: неужели от целых народов, государств и городов остается полустертая имя, иногда — первая надпись палимпсеста, развалины в степи или остатки фундаментов — и больше ничего?

Может, только археологи что-нибудь раскопают, но любой, кто размышлял над этим, скажет, что все повторяется и сюжет складывается из простых составляющих. Как, например, сидишь ты за столом в светлой комнате, и если ты один — пишешь что-нибудь умное в тысячах километрах от давно разрушенного дома, — то ты странник, изгой, мудрец. А если твоя жена читает рядом и дети шумят в соседней комнате — ты домохозяин, семьянин.

А если за пределами слов, то ты сидишь за письменным столом, и где-то играет музыка — ед-

ва уловимые аккорды. Лают собаки, и птицы повистывают. Вот еще шины прошуршали, а потом солнце сквозь тучи прорвалось, но не совсем, и на окнах стали видны царапины и разводы, а там, где окно открыто, видны слепящие облака и сквозь них косые лучи света. И этот мир как пелена, которая отступает, и ты видишь фрактального ангела с фрактальным свитком, и тебе хочется раздеваться и пойти по воздуху вверх, а тело пусть за столом остается, потому что вернешься ты уже в другое тело, которое лежит, покинутое душой, где-то в Чиангмае, недалеко от угла крепостной стены север — восток, где много баров и вечером играет музыка. Тело это лежит на огромной кровати из тисового темного дерева. Вся мебель в комнате из этого дерева, и комната огромная, с балконом и окном, и из окна видны покатые крыши домов (некоторые в замшелой черепице и опавших цветах), и немного к западу видно храм, стоящий на черных слонах (говорят самый древний в Чиангмае). Какой-то длинноволосый индеец в юбке клеит юных посетительниц в ресторане на первом этаже дома напротив, а потом поднимается с одной из них к себе в номер и подмигивает тебе, видя, как ты куришь на балконе, и какой-то таец играет на электрогитаре под окнами и поет:

— Hello darkness my old friend.

Душа войдет в это тело и забудет того чувака за столом, в котором только что была, и не поймешь — в будущем он или в параллельном мире, теперь уже все равно, и так может продолжаться тысячу лет. О, невежественный, не засыпай сейчас, а то проснешься — на пальцах татуировки, голова обрита, за окнами пахнет бензином и выхлопными газами. Слышно вой сирен машин «скорой помощи», или это полиция приехала за тобой, а ты, кроме смерти, больше ничего не хочешь, и, как Акутагава Рюноске, принял какого-нибудь японского фенобарбитала и сел писать про то, что, дескать, в пути я занемог и все бежит-кружит мой сон по выжженным полям. И в этот интимнейший момент, когда уже почти сломали двери и перепуганные соседи наконец сделали потише свои телевизоры, выбежав смотреть, к кому на этот раз вламываются в квартиру, — смотреть в дверные глазки, затаив дыхание, пахнущее редькой и постоянной тревогой о скачущих ценах на рис и sake.

Бабах!

Дверь сломали вместе с бетонным косяком. Грохот и матерщина. И в этот кульминационный момент душа возьми да вылети — и возьми да проснись в детской спальне светлым весенним утром от того, что яблони зацвели и запах их в окно открытое пробрался. И темно еще, но уже светлеет и свежо очень.

Мама завтрак готовит, и в школу не надо, или если и надо, то на праздник какой-нибудь глупый, вроде дня именинника, и пустая школа превращается в место для игры и чаепития вместе с родителями и одноклассниками, а ты еще не пил спиртного и не выкурил ни одной сигареты, потому что тебе и так весело и хорошо. И на девчонок ты не очень пока заглядываешься, потому что тебе интересно в своем маленьком мире, полном открытий и похвальных достижений. И непонятно, кто был этот бритоголовый с татуированными руками, которого забыла твоя вечная душа? Кто тот человек, который проснулся в гостинице Чиангмая у северной части стены, в которой Тафа Гейтс. Проснулся и закурил тайский L&M с ужасным вкусом, и поставил чайник, и вышел на балкон в утренние прохладные сумерки, где плюмерии пахнут сладко-пьянюще и роняют свои цветы на крыши, замшелую черепицу и сиамских котов. И каждая затычка приближает твое сознание к тому моменту, чтобы вспомнить мальчишку, у которого день именинника. Приближает, но не может приблизить, и нет воспоминания — только смутное предвоспоминание того, что Бог — это огромное существо, как небесная грибница, где от каждой звезды тянется нить к новорожденному, как пуповина, и какой-то дикокаменный киргиз, чья молодая дочь накричала на Валиханова, когда он за ней голой подглядывал, смотрит на

небо, видит падающую звезду, думает, что кто-то умер, а сам говорит: «Горит пока моя звездочка». А где — он и сам не знает. И вот у этого Бога — небесной грибницы — огромная душа с миллиардами пар глаз, и он то одну пару откроет, то другую: человек моргнет — это Бог переключился, но время для него не существует, и он может посмотреть глазами каждого из рождавшихся в любое время, в том числе потому, что для него никто не рождается и не умирает, а он и есть эта живая нескончаемая летопись, и когда он закрывает свои глаза — Вселенная исчезает. И тогда сидят какие-нибудь Лара Ратчадемноен и Даня Нараян в полной темноте — оглохшие, ослепшие, — и сердца у них не бьются, и душам некуда лететь, и роли больше не раздаются, и мир с ними не играет больше, и васильки не растут, сны не снятся, да и вообще.

А потом — раз, звездочка в окне зажглась, ветерок подул, и ноздрей Ратчадемноен коснулся, через окно проникнув, и она заволновалась, и Даню Нараяна за руку взяла ни с того ни с сего, и никто не проснулся пока, только еще одна звездочка зажглась, и души-птицы Дани Нараяна и Лары Ратчадемноен начали какое-то таинственное гнездо вить на верхушке самого необычного, странного и корявого дерева в лесу.

ПОВОРОТ НА ЗАКАТ

Когда так долго стремишься потерять форму (но не ту, которая в спортзале поддерживается) и это наконец происходит, оно как-то даже не по себе. И ты день за днем лежишь, свернувшись от холода на тростниковой циновке в тростниковой хижине на берегу реки, на границе самой большой и суровой пустыни в мире. Почему так? Как можно было искалечить человека, что он перестал верить людям и вообще во что-либо, остался один, и перед ним захлопнулись последние двери, а за окнами война, и люди убивают за идею, ненавидят за идею, готовы на любую подлость за ту же самую идею!

Сумбур и хаос — что вообще происходит?

Старый бродяга, полуослепший от катаракты, призывает ангелов господних и бодхисатв — хоть кого-нибудь, — чтобы поскорее захрустели его кости и навсегда расхотелось есть, спать и трахаться. Господи! Помоги! Не могу без тебя. *Eli eli lamta lamta sabacthani.*

И вот ты просыпаешься утром, а вокруг никого. Небо пасмурное, дома пустые, детские площадки тихи, и ветер несет вдаль бумажные стаканчики из-под кофе и целлофановые пакеты. А тебе сни-

лось, что ангелы сделали из твоего черепа чашу и пировали — пили вино победы и любви.

Проснувшись, ты не чистишь зубы и кофе не пьешь. Если были у тебя дом и семья, они как бы тоже тебе приснились, и дом приснился, и друзья, которые собираются вместе, чтобы не так страшно было по отдельности, и домашние животные, вроде рыбок и черепах, все пропали, и кот сдох в твоём сне, а утром ты не можешь его отыскать. Ты как будто в параллельной вселенной тотально-го одиночества и всю жизнь там провел, за исключением одного сияющего дня, когда удалось подключиться к необъятной вселенной и даже не кричать, хотя очень хотелось, но стать невидимым, с черными сияющими провалами глаз, стоя перед зеркалом в гостиничном номере, когда ты видишь потусторонний мир и из него приходят великие видения и духи. Вечная неприкаянная душа осознала свою вечность и нашла Дом — на одно мгновение полного и окончательного просветления, которое длилось одно мгновение вне времени.

День. Восемь часов. Бог моргнул, переключился, вспыхнул нервной системой отдельного человека и оставил его в темноте снова на тысячу лет, до следующего вневременного континуума, волшебного окна в стене, в которое видно звезды.

А потом внезапно после потока образов и остервенелого метания — спокойствие. Жизнь идет

сквозь тебя, череп и кости, нижняя челюсть затерялись в золотой прошлогодней траве, остатки стен торчат из земли глиняными бесформенными големами, маленькая птичка с оранжевой грудкой села на обломок стены, взмахнула хвостиком, чирикнула, защебетала, спрыгнула-слетела в траву — такая кроха, что удержалась на тоненьком стебельке. Ветер подул, стебелек качнуло, птичка перепрыгнула на череп, чирикнула, заглянула в пустую глазницу и скрылась в ней.

Луна светит в окно, полная и серебряная, как серебряная монета, затерявшаяся среди развалин, фундаментов и глиняных стен. Луна за луной, месяц за месяцем приводят за собой солнце, и сумерки все свежее и пьянее, и столько запахов — черемуха цветет или табаком пахнет. Ты вдыхаешь дым, и язык немного немеет, будто от холода. Это молодые люди курят и выпивают под деревьями в темноте (под деревьями темнота еще гуще — почти непроглядная). Только огоньки сигарет пляшут, как волшебные болотные огни, которые завлекают усталых путников своей пляской, и алкогolem пахнет, и похотью, и страхом. Этаким коктейль «отрочество — юность — аборт — алкоголизм — преждевременное старение — ссоры — насилие — вопль боли и отчаяния», а сейчас так волнительно черемуха зацвела. Волнительно вдыхать дым, жадно припивая из бутылки-тительки два

литра девять градусов поворот на закат, лево руля, и еще белого дыма из ракеты — год за годом, поколение за поколением. Шприцы в лесу сложены кучкой, где трава примята, где сидели на кортах и ловили волны азиатских радиостанций, гор Афганистана и оазисов Великого шелкового пути. Ловили дым из кальянных, где пахнет мятным чаем и еще чем-то едва уловимым, может быть, великой Империей и геополитическими успехами, солдатской жизнью и фантомными болями.

Сегодня ты император, а завтра твой сын присел на корточки в лесу с подарком из незавоеванной Азии.

На улицах, в лабиринте дувалов и глиняных стен, среди разноцветных ставен и фонариков с цветными стеклами красавица приподнимает паранджу для молодого человека, и оба понимают — наказание неизбежно. Оба поплатятся. Она поднимает черное покрывало в темной подворотне, где пахнет мочой, страхом и сыростью, и ее груди и живот белеют в неполной темноте. Он не успевает коснуться ее, только вдохнуть ее полуживой запах, увидеть темный кружевной рисунок росписи хной или татуировки (в потемках не разберешь), услышать вздох и заметить боковым зрением блеск ятагана.

САД ЯБОНЕВНИ

Все это как волшебство — кто-то из нас верит в хорошее, стремится сделать все правильно, быть образцовым родителем, сдувать пылинки с ребенка, который выживет в грядущих бурях, только если дать ему достаточно любви. А потом на аккуратно подстриженном газоне, рядом с кустом белой сирени, в прекрасном, словно игрушечном пространстве детской площадки, эти дети играют в войну. Двое стоят на коленях, руки за спиной, а третий с игрушечным пистолетом подходит к ним сзади и понарошку пускает им пулю в затылок каждому. Дети притворяются, что лежат с простреленными головами, и кровь тихо вытекает на газон, солнце гаснет на мгновение, появляются звезды, налетает порыв ветра, налетают облака — то ли гроза такая, то ли эхо прошедшей войны, где артиллерия бьет так, что в нашем цивилизованном пространстве можно обоссаться, не дойдя до туалета.

Маленькая птичка снова запела в немного лесу. Там и люпины зацвели, и солнце рассыпалось искрами и бликами на цветах, росе и ручье, журчащем на перекатах, где по берегам дудник в человеческий рост, а точнее, лесная ангелика под

пологом из ветвей во влажной многоступенчатой сумеречной ложбине.

Над огромными белыми зонтичными, пахнущими свежестью ручья, над каждым белым соцветием-зонтиком, направленным к небу, кружится столбик из белых мотыльков. Они живут один летний день — появляются из земли и уходят в землю, — а между тем становятся душой цветка — трепетным, ожившим воздухом. И таких чудес здесь полные леса и полное небо, и все это так мимолетно — отвернешься, задумаешься о какой-нибудь войне или курсе доллара, и твой мир пойман всеми этими унылыми газетенками.

А здесь — сады ябоневни и маленькая птичка, которая снисходит до пения только ночью, потому что ей нужен свободный эфир. И вот когда затихают моторы, дети на детских площадках затихают и не стреляют больше друг другу в головы, мамочки с колясками затихают, то ли гроза затихает и то ли эхо тоже, Даня Нараян затихает, и тут маленькая птичка в садах ябоневни как чирикнет:

— Чик-чирик-чирик-чик-чик.

И затихшая Ратчадемноен взвизгивает от удовольствия, собирает отцветшие белые одуванчики и говорит:

— Лопушки, смотри!

— Одуванчики, что ли?

— Нет! Хлопушки. Ф-ш-ш-ш-ш-ш-ш.

Дует на одуванчики.

— Вон сколько лопушков! И маленькая птичка.

— Кажется, это соловей.

— В немного лесу.

— Да. В немного лесу. В садах ябоневни.

Ночь пахнет пьяняще, и луны строго полови-на, и небо немного туманно, а луна — как мар-мелад «лимонные дольки», и Лара Ратчадемное-н возьми ее да и съешь, и по темным улицам под пение маленькой птички возвращаются Даня На-раян и Лара Ратчадемное-н из садов ябоневни до-мой — в полупустую снятую квартиру, где горит свет, на окнах нет штор, а из мебели только мат-рас, раскладные дачные кресла и маленькая та-буреточка, на боку которой криво черным каран-дашом для подвода глаз написано: «Сад ябонев-ни».

Это Даня Нараян взял черный карандаш для подвода глаз у Лары Ратчадемное-н и написал на табуреточке слово «АД», а Ратчадемное-н отобрала у него карандаш и принялась дописывать другие буквы, чтобы получилось «САД», а потом она ре-шила написать «яблоне-ый», но Даня Нараян на-чал целовать ее, и Лара, смеясь, ошиблась несколь-ко раз, как будто стала безграмотной от любви, после чего получилось «Сад ябоневни».

И он здесь, этот странный сад. В открытое окно влетают комары и запахи сирени, запахи цветов

с клумбы под окнами и немного запаха бензина и табачного дыма, ночной свежести и дождя.

Свет горит, и он теплый, ламповый, электрический — самый уютный. И Лара Ратчадемноен раздевается и взлетает над домами — волосы раскиданы по плечам, белая кожа отражает свет, как луна, руки и ноги немного колышутся от ветра, как водоросли под водой, и маленькая звездочка запуталась у нее между пальцев. И Ратчадемноен достигает Млечного Пути, постепенно, медленно нарастает высота, безвременье и безмыслие, удивительный белый свет, а потом космический ветер аккуратно укладывает Лару обратно на постель, на белые смятые простыни, на Даню Нараяна, на матрас, вокруг которого разбросана, расшвыряна одежда. В открытое окно пахнет имбирными пряниками и цветочной пылью... и таким свежим летом, как будто в нем соединились все воспоминания о лучших летних днях из детства, которые пролетели, не оставив следа, и это все, что сейчас происходит, тоже не оставит. Здесь не бывает победителей. Жить — все равно что играть в шахматы со смертью, которая играла на несколько миллионов лет дольше, чем ты, к тому же жульничает, и ты проигрываешь раз за разом, и сердце твое бьется где-то у горла, когда ты лежишь на правом боку на старом диване в одной из старых клетушек-комнат китайской стенки, выстроенной на

пустыре, рядом с железной дорогой, и понимаешь, что все кончено — видишь, как завеса памяти открывается, обнажая множество прожитых жизней. Никакой тебе Ратчадемноен, никакой любви, и ты умираешь от ран под каменной колоннадой: из-под ног книзу уходит лестница из десяти ступеней — нижние скрыты темной зеленоватой водой прямоугольного пруда, зажатого каменными папетами.

Ты прислоняешься спиной к каменной колонне, основание которой как бы поддерживают обнаженные каменные женщины. Плиты пола (тоже каменные) покрыты рельефными свастиками и изображениями звероподобных богов.

Вокруг растет прозрачная пальмовая роща, а за ней простирается красноватая пустыня с деревьями-кактусами и светло-коричневыми гранитными глыбами, и здесь, на берегу пруда, тебя, умершего от ран, сжигают на костре из сандалового дерева, и какой-то совершенно голый старик с дредами обмазывает свое тело пеплом от твоей кремации и сидит неподвижно, как дживанмукта — умерший при жизни, — а тебе еще предстоит родиться раз за разом и мастурбировать перед зеркалом в ванной комнате, будучи, например, немного косяглазой и загорелой женщиной со стройными раздвинутыми ногами, кончающей в нарциссическом припадке на красоту и похоть своего собствен-

ного тела, мечтающей о сексуальности, преодолевшей тлен и время, как иероглиф-изгиб бедра каменного женского божества, поддерживающего одну из колонн у того пруда, где садху сидит, не двигаясь, третью тысячу лет, а на его фоне меняются царства и цивилизации. Смуглые, чернобородые, коренастые мужчины ложатся под ударами бронзовых мечей высоких и светловолосых колесничих, которые после битвы вырезают на камнях свастики, и один из них говорит богоподобным громовым голосом:

— Эй, чувак с дредами! Ну-ка подвинься!

Но ответ один для всех — тысячи лет безмолвия и бесконечного ухода в себя.

АНГЕЛ

Пробившись сквозь пелену жизни, наружу выходят сны. Ты просыпаешься мальчишкой пятнадцати лет, идешь к ручью и наблюдаешь за рыбами и ящерицами: рыбы греются на мелководье, ящерицы — на камнях. В глубоком синем небе кружатся два сарыча. Мальчик замирает, глядя вверх, и видит паутинку, волнующуюся на ветру. Она ловит солнечный свет. Где-то высоко — выше деревьев, но ниже сарычей — летит бабочка. На горах вдали лежит снег.

Мальчик слышит приближающиеся шаги. Он скрывается в прибрежных зарослях и припадает к земле, испещренной птичьими и звериными следами. Перед его лицом синеют ягоды жимолости, и он срывает их губами, пачкая рот и язык темно-красным соком. К ручью выходит темноволосяя женщина. Она снимает босоножки и заходит в воду по щиколотку. Мальчик вспоминает холод воды, и у него ломит мышцы ног. Женщина ступает обратно на теплый песок и стягивает короткие шорты. Под ними нет нижнего белья. На ногах, чуть ниже ягодиц, видна полоса загара. Женщина тянет через голову футболку. Ее груди освобожда-

ются от ограничений ткани и обвисают, немного переспелые.

Мальчик останавливает мгновение, чувствует пульс на шее, в кончиках пальцев, в ладонях. Он весь становится звериной похотью и перестает замечать происходящее вокруг.

По камням пробегает ящерица, налетает порыв ветра, рябь идет по поверхности ручья, лес шумит листьями и ветвями.

Женщина исчезает, и снова ручей тонет в солнечной игре.

Мальчик переворачивается на спину и яростно мастурбирует, пока сперма не брызжет ему на живот и грудь, и он замирает, глядя в небо, где плывут облака. Через годы он забывает о ручье и женщине и выглядит как хрупкая тихая птица. Светлые глаза тихи и спокойны. Он готовится встать на новую ступень развития. Тайна в нем, а на вид — обычный мужчина, без семьи, детей и денег, этакий проигравший в жизненную монополию, но выигравший в другой реальности, по отношению к которой жизнь — всего лишь игра. И мальчик у ручья, и Даня Нараян, и Лара Ратчадемноен — призрачные, эфемерные фигуры, не реальнее, чем любой другой литературный персонаж, помогающий проявиться чему-то огромному, древнему и безымянному. В этом заключается колоссальное творческое усилие: найти недостаю-

щее звучание слов, уникальную мелодию, в которой зашифрован код жизни, ее скрытый смысл, и, познав его напрямую, умереть на месте, отправившись в другое качественное состояние, и уже никогда не грезить о половых губах, клиторах и грудях — всех этих естественных вещах, чья власть для многих мужчин неоспорима.

А потом ты спускаешься с гор в пещеру уже в преддверии тьмы. В синевато-серебряном полумраке акация, зверобой, аканит, очитки, ящерицы и королевы змей замирают и размываются.

По осыпающейся тропе осторожными шагами ты пробираешься в темное лоно пещеры, где во тьме капает вода, звучит гулкое эхо и движутся очертания. Там отдыхает у своего походного костра архангел Гавриил — странник, — босой и нищий, крылья прикрыты ветошью. Его не видно, только чувствуешь, что он там. Тьма облепляет тебя, как глина, потом бессознательное прокатывается волной обжигающего огня, и сосуд готов. Глина-тьма с душой-вином внутри. Остается только обернуться к проходу, залитому серыми сумерками, и почувствовать спиной, как из-под сырых камней поднимаются тени — чернее темноты — от крыльев ангела. Он как порыв ветра — очень сильного, но совершенно бесплотного — обнимает тебя, подхватывает, растворяется в твоём сердце, расправляет за твоей спиной исполинские кры-

ля, подталкивает вперед. Волны времени спадают, личность твоя спадает, тело спадает, и ты лежишь в траве, тихий и благословенный, видишь, как загораются первые звезды и темные ветви глядят темнеющее небо, волнуются.

Ангел спускается к тебе (их обычно изображают как человека, но ангелы не люди). Он открывает твое тело, оставляет его лежать тяжелым и холодным камнем, сброшенной змеиной кожей, пустым хитиновым панцирем, берет *тебя* за плечи, обнимает, и его странное лицо — не женщина, не мужчина, и в то же время и женщина, и мужчина — становится близким и как бы самоозаренным. Он воспаряет и возносит тебя, не отпуская, не разжимая объятий, и ты чувствуешь себя как глупый избалованный ребенок в бумажной короне на дне именинника — немного глуповато и самозабвенно хорошо. И все это чем-то напоминает секс с любимым человеком, но только без разделения полов, без имен, тел и, собственно, самого секса — одна тончайшая прекрасная любовь, которая никогда не перестает.

ОТПЛЫТИЕ

Лара Ратчадемноен пропала, и Даня Нараян отправился в путешествие на утлой лодочке по серосвинцовым холодным волнам. Ему осталось немного до следующего берега — берега страны призраков. Обломанный, замерзший, борода до пояса, темные круги под глазами, ледяная слеза на обветренной щеке. На руках непонятно откуда взявшийся черный кот с острой мордой и крысиным хвостом; как только Даня начинает засыпать, кот грызет ему белые, окоченевшие, как у покойника, пальцы, потому что нельзя здесь спать — насыплет снежной крупой, или свинцовая волна слизнет с лодки. А Даня вспоминает черемуху на берегах горной реки. Когда-то весной она цвела, и вместо обычного в этих местах снега выпадал прекрасный снег из трепетных белых лепестков, и они падали на быстрый прозрачный поток, а глупые рыбки, серебряными боками блестящие на солнце, выпрыгивали из реки, думая, что это насекомые, и скрывались в воде, унося в губах белые воздушные лепестки, как бы соединяя воду и воздух километрами русла и бесконечным потоком, который и есть время.

А потом солнце грело все сильнее, вода испарялась из реки, появлялись облака, проливались дождем, земля принимала воду, корни черемухи впитывали ее, ветер разносил пыльцу и срывал лепестки; по воздуху летали насекомые, согретье солнцем; цветки черемухи превращались в ягоды с косточками внутри, словно узлы информации в общей сети, сотканной из ветра, воды и огня. И вот, каждая ягода черемухи скрывает в себе косточку, а ягод в каждом соцветии целая гроздь, и гроздью заканчивается каждая веточка, а ветвиться черемуха может бесконечно, и в каждой косточке скрыта информация о черемухе, содержащая целое дерево, и все это закручивается спиралевидными фракталами, в которых мир раскрывается белым цветком, который содержит черемуху, которая цветет сотнями цветков, которые содержат черемуху, и так далее, до бесконечности, вложенной в бесконечность бесконечностей, пока есть вода, земля и огонь. Если бы люди были визионерами и могли бы плавать на другой берег, как Даня Нараян плывет за Ларой Ратчадемноем, хотя это и тяжело временами, то они могли бы увидеть не интеллектуальную модель, а своими глазами, как в пространстве и времени разворачивается фрактально-структурированная черемуха, и что она может прерваться в месте, где есть солнце, воздух и вода, но никогда не прервется в мире чис-

той, непроявленной информации, а если даже и прервется, то это будет только потому, что огромное неизречимое существо, которое спит на космическом цветке, и не существо даже, и не цветок вовсе, и оно как моргнет это несущество, и черемуха исчезнет, как не было никогда, но это, по сути, ничего страшного, потому что все равно никто не узнает.

Так вот, Даня Нараян, в бороде и с замерзшей слезой, плыл однажды по морю фракталов без Лары Ратчадемноен. Вокруг него возникали призраки, и на небе оживали созвездия: то Орион стрелу в него пустит, то Змееносец подкинет ему в лодку змею, то Большая Медведица съест фрактальной черемухи, пройдет пол неба и насрет рядом с Полярной звездой. Косточки от ягод упадут в небесную почву, многие погибнут, а одна останется. Прорастет, зацепится черными ветвями за небо, и корни выпьют немного воды из фрактальной реки, где каждая молекула несет древнейшую космическую информацию о первоосновах, которые вложены друг в друга и бесконечно повторяются.

Даня Нараян смотрел на это, смотрел и заснул на полсекунды, потому что котик с острой мордой не успел его за палец укусить. И Дане привиделось, что снег шел несколько дней, и лодка наполнилась им, и даже сугроб небольшой получился,

и снег ложился на черную поверхность волн и таял, а где-то глубоко под водой в илистые наслоения дна вросли утопленники в бетонных ботинках, разбухшие утопленницы в свадебных платьях, онкологические больные, не выдержавшие невыносимой боли, нефритовый Будда, покоренная стальная арматура и коробка патронов для ружья.

Враг всего человечества — бездушная тьма — повернулся к Дане бесформенным лицом, и Дания Нараян превратился в призрачного и бледного короля-мертвеца. Его тело полупрозрачно, а кости горят бледным зеленоватым огнем, просвечивая изнутри. На голове — стальная корона с изображениями оскалившихся обезьян и со сгустившейся болью вместо драгоценных камней, — такая вот обезьянья корона впилась ему в голову. А в руках у Дании Нараяна два тонких стилета, и на поясе еще два, и один воткнут в призрачную плоть под ребрами слева. Ни пошевелиться, ни вздохнуть, а за окнами сгустились вязкие, как спирт, холодные сумерки. И что-то надо делать со всей этой дешевой эгоцентричной звериной бутафорией. Может, проверить, что будет, если напрячься немного и вдохнуть, отхлебнуть, захлебнуться этим воздухом-спиртом, вперемешку с кровью, которая идет горлом, а потом сдавить внутреннее пространство мышечным корсетом в корежащем

САДЫ ЯБОНЕВНИ

спазме, так, что ребра захрустят и внутри все заколет, словно от статического электричества, и электрические разряды зажгут пары холодного воздуха-спирта в нем же самом, и волна голубого пламени покатится вместе с душераздирающим криком по темным, поседевшим добела от непрекращающейся душевной боли полям.

Кажется, не вариант. Но что же дальше?

ПРИБЫТИЕ ОБЕЗЬЯНЬЕГО КОРОЛЯ

Ах, мой милый Августин!

Бедный пьяный бродяжка,

Свалившийся в яму с чумными трупами.

*Ты не заразился всеобщей чумой, потому что
слишком пьян от жизни...*

Опять осень подкралась незаметно, и висельники на лесных дорогах качаются под ветром среди дрожащих осиновых листьев, предчувствующих волны голубого пламени. А висельники тем временем улыбаются безгубыми ртами и шепчут друг другу о любви:

— Помнишь, как молоды мы были? И как мы стали одиноки, и как бежали от прошлого на поиски дивного нового мира и, ничего не найдя вовне, возвращались в старые царства, но уже с новым заветом, после всех этих ужасов, глядя на то, как играют девочки в подъезде. Играют, ничего не боясь, и как будто тебе приснились эти жуткие худые и полупрозрачные люди из твоего детства с синими от татуировок пальцами, прячущиеся за трубой мусоропровода. Они — как призрачные короли, чьи руки в призрачных перстнях, а на головах

стальные, ржавеющие короны, и в пальцах зажатые ложки, подрагивающие над огоньками зажигалок, но эти люди не на обед сюда пришли: судя по их нездоровой худобе, впалым щекам и бледным лицам, они вообще кушают плохо и руки не моют, и сгниют где-нибудь на тюрьме — легкие изъедены туберкулезом, СПИД почти доконал, и холод глубоких сырых ям, куда сажают людей — всех скоро пересажают, — проникнет в их призрачные кости.

А отче Серафим (это светлый такой старик на картинке, горбатый и тихий) говорил, что если ты ловишь отзвуки Царства, то хоть стой всю жизнь на коленях в яме с червями — тебе будет все равно, потому что здешнее царство — временное, а небесное Царство — вне времени, и если повезет, то и тебя — да, да, тебя, с синими жуткими руками и черной, как ад, душой, — возьмут под руки ангелы и приподнимут чуток, стальную корону с головы потянут, и плоть твоя треснет, как подгнивший холст, и свет брызнет, и новая корона будет из света, а все прегрешения (вольные и невольные) тебе спишут по амнистии. И уже множество таких страдальцев — одиноких, потерянных душ — спасли. Наверх подняли. Потому что они здесь отмучались и иногда так страдали, бедные, что хуже не придумаешь, даже говорить об этом неловко. Будь моя воля, я бы всех прощал и на небо пускал.

Особенно таких, кто не может жить нормально, потому что у него сознание истончилось и бессознательное — это такое море образов, а точнее, поток со своими подводными течениями, приливами и отливами (такой вот поток) — захлестывает, бьет в берега осознанной, продуманной личности и конца-краю этому нет. А у Дани лодку опрокинуло, или это опять котик не справился, и Даня Нараян заснул, замерз и умер, и видит, как тонет в ледяных волнах, и уходит под лед, и плывет разбухший и страшный, потому что его Лара Ратчадемноен пропала в подземном царстве и даже памяти о ней не осталось. А под водой только вакханки с полными ногами, и даже Лара Ратчадемноен всю дорогу была вакханкой, а Даня опять себе напридумывал, злился и страдал от этого, а потом сдавался, и его вакханки пьяные рвали на части и ели, но музыка не прекратилась, и даже камни плакали от нее, потому что если перестать говорить, то камни возопиют, потому что должно быть сказано.

И вот снова — в шипастой обезьяньей короне (как семечко у проросшего из этого же семечка василька), со стилетом под сердцем, — двинешься, а он глубже входит, — посреди бесконечной холодной ночи, готовой полыхнуть синим пламенем и исчезнуть, Даня Нараян грезит о любви, которая никогда не перестает.

САДЫ ЯБОНЕВНИ

Может быть, скоро берег? Или то, что кажется твердью сейчас, самое зыбкое из всего, что есть в этом мире, как сгустившийся туман, на который встаешь и, обманувшись, вскрикнув, пернув, взмахнув руками, с неподдельным удивлением уходишь под воду, где тебя оплетают щупальцами студенистые существа. Они обнимают тебя все крепче, как будто от любви, вгоняя стилет все глубже, но, даже вонзившись в сердце, он не приносит успокоения, только боль.

ВРАГ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

Ты постепенно опускаешься на самое дно — на покрытый ракушками и кораллами трон из обломков потерпевших крушение кораблей — и восседаешь на нем, а вокруг только мертвецы с бледными лицами и водорослями в волосах. Вместо воды течет время, и это время переполнено образами. И нет огня в этом проклятом царстве, нет любви, как в ту ночь, когда зачинали врага человечества красивые и молодые мужчина и женщина. Женщина, как призрак Лары Ратчадемноен, и призрак Дани Нараяна в железной короне притягивает ее к себе, и Лара отстраняется, целует его туда, где сердце бьется под кожей, ловит пульс губами вначале на шее, а потом скользит полуоткрытыми губами вниз, по ключице и к ребрам: нет ли там стилета?

Нет. Только шрамик овальный, но видно, что рана была глубокой. Тогда, поцеловав эту бывшую рану, она, то есть призрачная Ратчадемноен, легонько скользит губами вниз по призрачной коже Даниного живота, берет в свой маленький красивый ротик и заводится так, что у нее по бедрам течет, и она ложится, мокрее, чем вода, потому что

руки Дани Нараяна ее направляют вниз, призрачные и холодные, и он без рук касается ее половых губ, раздвигает их медленно, входя миллиметр за миллиметром, и шепчет ей на ухо: «Не двигайся, моя хорошая, даже не дыши, а то мы взлетим на воздух». Она трепещет, извивается под ним, и ей хочется кричать. Мир замирает, когда он касается ее жаркого предела, и последний воздух выходит из ее груди, и твердые острые соски упираются в его кожу, почти прорезая ее. Призрак Лары Ратчадемноем обнимает призрак Дани Нараяна в железной короне, стонет, и у нее внутри все сокращается, и его простата готова взорваться вслед за сокращениями ее матки.

Лара скользит тонкой рукой по спине Дани и чувствует призрачную сталь стилета и видит стальную корону и как кости просвечивают. Ей хочется бежать куда-нибудь в летнее небо, которое она видит, лежа в высоких волнующихся травах на черной рассыпчатой, пахнущей самой жизнью земле, но ее живот пронзает холодом предчувствие беды — как электрический разряд или когда тебя в шею целуют или в уголок полуоткрытых губ, — а потом она чувствует, как он кончает, и серебристый свет переполняет ее матку, и оттуда во все стороны катится нарастающая холодная взрывная волна, которая накрывает землю и небо. День сменяется ночью, травы желтеют, земля покрыва-

ется снегом, и из тел уходит последнее тепло, как в том недавнем сне, когда Ратчадемноен спустилась ночью в пещеру — во тьму, где все начинается и все заканчивается, — и кричала в эту тьму, и ее волосы, чернее самой тьмы, разметались по обнаженным белым плечам, и глаза заполнились тьмой, и сердце стало как черный обсидиан (его иногда называют «обломки костей дьявола»), и она вырвала черное обсидиановое сердце из груди (хотя все равно во тьме этого никто не видел), нащарила свободной рукой какой-то камень и била в кромешной темнотище по обсидиановому сердцу в другой руке, откалывая острые осколки, пока не получился острейший жертвенный нож. Тогда она вынырнула с ним — руки все разбиты и порезаны, — проскользнув по темному, влажному от подземных вод лону горы, и очнулась (с обсидиановым ножом в руке) под Даней Нараяном, и, рванувшись в сторону, обхватив Даню ногами, крутанулась и села сверху, перевернув его так, что он остался в ней, то есть не вышел из нее ни на миллиметр, все еще пульсируя в унисон с ее сокращениями, заливая ее холодным семенем, как зимнюю ночь заливают холодный лунный свет или пустые каменистые берега омывают воды Северного Ледовитого океана. Лара Ратчадемноен оседлала остывающее тело Дани Нараяна, бесконечно кончая сама, и в неизречимом экстазе опустила

руку с черным обсидиановым ножом — осколком сгустившейся и затвердевшей черной крови — на его солнечное сплетение, и нож утонул в его груди, погасив это солнце, которое билось в этом его сплетении, утонул в густой, выходящей толчками крови, которая в лунном свете казалась черной. И призрачная Ратчадемноен, черноволосая и бледная, чье тело как будто выточено из слоновой кости, а кожа — как разлитое молоко жирностью 1,5 %, повела этим черным своим ножом на себя, вскрывая грудную клетку Дани Нараяна, откуда хлынула кровь, заливая снег вокруг них чернотой, расплзаясь огромным черным пятном по белизне полей.

Лара Ратчадемноен взглянула Дани Нараяну в глаза, наклонилась и поцеловала в губы, разбросав свои черные волосы по его лицу. Внутри нее холодное семя уже начало прорастать — так же медленно, как расплзалась по снегу вокруг них чернота, и так же бесшумно-тихо, как выходила из вскрытых артерий кровь. Вот так был зачат враг человечества.

МУЗЫКА

И Лара Ратчадемноев, вся перемазанная черной кровью, пошла по заснеженным полям, оставляя черные следы. В глазах у нее стояли слезы, позади — тело Дани Нараяна, открытое небу и холодным ветрам, с обсидиановым ножом в груди. Но нет покоя даже умершим, и, открыв глаза, Дания Нараян видит, что он по-прежнему плывет в своей лодке, а котик с крысиным хвостом окончил и его черную шкурку припорошило снегом. В руке у Дани черный обсидиановый нож, грудь вспорота, кровь течет, и лодка, почти заполненная до краев черной дымящейся кровью, ткнулась в туманный берег призрачного царства. И Дания ставит одну ногу на берег, потом другую и идет по туманной развоплощающейся земле, теряя вес и очертания, распадаясь с каждым шагом на образы и полутени. Вокруг — никем не населенные леса, утесы и мосты над пустотою и маленький городок, затерявшийся в полях, где кислотно-розовая неоновая вывеска «Цветы от Флорентины» светит в окно всю ночь и делает полупустую комнату с белыми обоями, балконом и окном какой-то inferнальной. В этой комнате

Даня Нараян просыпается в панике и не понимает даже, спит он или нет, потому что от одного кошмара просыпается к другому, и плоть его прозрачна и пронизана холодным кислотно-розовым светом, который сдавила в объятиях темнота, навалившаяся на холодные бескрайние поля всем своим бесформенным окоченевшим телом. Судороги в икрах такие, будто жилы тянут наружу, а ступни сводит так, что Даня скрючивается вопросительным знаком, который утверждает какой-то невнятный вопрос, переходящий в звериное восклицание.

Боже, попустишь немного, твоя рука слишком тяжела!

Но вот, кажется, звонит телефон, а на звонке что-то вроде оперы, наложенной на плавную такую, с глубокими басами электронику. Тогда будто чужая и дрожащая рука берет трубку, и из разряженного темного пространства звучит голос Ратчадемноен:

— Данечка, у тебя все хорошо? Давно ты не звонил что-то.

— Нет-нет. Ничего не хорошо.

И она находит его на балконе с бутылкой джина — пьяного, бледного и дрожащего. Гладит по голове, гладит по груди, целует белый шрам через всю грудь и касается длинными тонкими пальцами шрама слева — круглого следа от стилета.

Где-то за лесом грохочет поезд, потом пространство затихает, и в кислотно-розовом холодном свете идет снег — падает вертикально крупными мягкими хлопьями, — и за окнами, выходящими на балкон, огромные пустые апартаменты, которыми надолго завладела зимняя ночь, и изгибы ее бархатного тела гладит свет фар проезжающих машин, и ее нутро согревает холодный свет уличных фонарей, потому что тело ночи холоднее.

— Холодно здесь, — говорит Ратчадемное, и Даня послушно следует за ней в комнату, где царит красноватый полумрак, и Лара укладывает его на матрас, укрывает одеялом, как ребенка, поддвигает поближе стоящий на полу синтезатор и начинает наигрывать простую мелодию. Получается как повторяющаяся мелодия из музыкальной шка-тулки — трогательная и детская.

Даня закрывает глаза, и его мышцы расслабляются, напряжение ослабевает, и снимаются слой за слоем призрачные покровы, как если бы он был укрыт от холода десятком одеял, только не от холода, а от извечного хаоса, и не одеялами, а слоями животного тепла, транквилизаторами и седативами, болью и физической опустошенностью — всем тем, что идет во благо его напряженному, как провод под напряжением, измученному маленькому сознанию. Но музыка, которую играет Лара, стягивает эти одеяла одно за другим, обнажая и зале-

чивая старые незажившие раны, ломая и заново сращивая криво сросшиеся кости, распрямляя искаженные инстинкты.

И вот, Даня в жуткой бутафорской короне изображает страдание, хотя сам прекрасно знает, что чудовищно переигрывает. Пусть даже ему остались считанные месяцы и ничего больше не радует, и ночами он просыпается в жутком ядовито-розовом неоновом свете и пишет в свою волшебную книжку, как будто это его последний шанс спастись, потому что нет уже сил ни верить, ни надеяться, ни любить и влачить такое существование, пропадая в жарких и влажных объятиях Азии, или галлюцинировать на осенних полянах, или смотреть черными, как космическая пустота, глазами в желтые окна ночных поездов, едва поднимая себя каждое утро с постели, чувствуя, что тело вот-вот распадется, сбрасывать с себя свои же кошмарные видения, пугая прохожих вскриками, всклокоченной бородой и взъерошенными патлами, неестественной худобой, стилетом под сердцем, грудной клеткой, вскрытой обсидиановым ножом, откуда струится тьма прямо под ноги прохожим, и даже смерть не принесет избавления.

Но вот где-то звучит музыка, словно из музыкальной шкатулки, и это Лара играет свою замысловатую мелодию. И внутри холод сменяется теплом, темнота — светом, а на пустое место, где

раньше было сердце, вливается легкая музыка. Дана плачет во сне — значит, лишился последних покровов. Тонкие пальцы правой руки в кольцах серебряного кастета лежат поверх почти растаявшей левой руки, потому что развоплощение идет слева направо, и слезы катятся по правой щеке, а по левой нет — там как будто блестит сухое серебряное русло.

И в слезах — очищение, и в музыке — легкость и прощение, и в сумерках комнаты — уютная тихая красота.

Именно эти воспоминания, которые окружили сейчас Даню Нараяна на призрачных берегах, стали основой той музыке, которая помогла ему зайти так далеко в подземном мире. Эти воспоминания и еще ничем не примечательный летний день, который был прожит, и благодаря ему окупались бесчисленные дни страданий.

Летний день — это ровно столько, сколько живут те белые мотыльки на берегу ручья, которые кружатся маленькими белыми столбиками над соцветиями лесной ангелики, выходя из земли и возвращаясь обратно в землю, а между тем становясь душой цветка — ожившим трепетным воздухом.

ЛЕТНИЙ ДЕНЬ

Что было тогда?

Да я и сам не знаю. Ничего особенного. Кажется, я дочитал книгу Вирджинии Вульф и влюбился. То есть поначалу я читал ее книгу с недоверием, а потом у меня сердце согрелось, даже не помню отчего, а потом были римляне, которые посреди романа о XIX веке высадились на туманные берега Англии и увидели перед собой безымянные горы и реки, которые петляли неизвестно где в названном ландшафте. Почему-то именно на этом самом месте моя оборона была сломлена, и я перестал рассуждать, принять ли прочитанное к сведению или не принять, и позволил Вирджинии Вульф — невротичной, воздушно-прекрасной женщине-ангелу — войти в мое сердце. Я захотел ее по-настоящему, но не просто проснуться рядом, или поцеловать, или еще что, но говорить с ней, слушать ее, любоваться ею, прикасаться своим сердцем к ее сердцу и смотреть из тайны своих глаз в тайну ее глаз, пока время не исчезнет, и даже смерть не властна над этой нежностью, и если эта нежность переросла бы в сексуальное возбуждение, то в нем не было бы ничего низменного или

грубого, а если бы мы провели вместе ночь, то наши дети спасли бы человеческий род от безумия или вроде того. Но это не все, потому что я думал еще об одной талантливой, но на этот раз современной писательнице. На фото она ничего такая, видно, что умная, при этом скромно так выглядит, волосы рыжие и улыбка хорошая. Сама не слишком худая, но пропорционально сложена — словом, можно было бы просто сказать, что она красива, если бы не ее книга. А книга добавляет ей привлекательности и делает таинственно-опасной, потому что хочешь не хочешь, а начинаешь смотреть на женщину иначе, когда ее литературный персонаж — девушка-журналист — вспоминает о том, как впервые в жизни мастурбировала, думая о случайно увиденных кровавых сценах охоты. Она, то есть героиня эта, просто осталась наедине со своим телом и вспомнила того грубова того сельского парня, который сдирал шкуры с недавно убитых животных в каком-то непонятном сарае; даже не вспомнила, а прямо увидела заново — и снова почувствовала запах крови, проникнувший в ее ноздри в тот момент, когда она как замороженная разглядывала порнофотографии, развешенные по стенам; и на волнах этих воскресающих ощущений она представила, какие флюиды источает секс на грани изнасилования, сунула свои пальцы в трусы и уже не могла остановиться.

Сложно бывает осознать эту непостижимую для многих жажду плоти и крови, приводящую в движение страшное колесо, каждый оборот которого меняет местами жизнь и смерть, жертву и преследователя, оргазм и предсмертную агонию. Жизнь за жизнью мы неосознанно умножаем насилие, чувствуем запах крови и боли, вкус подчинения и доминирования, суем пальцы в трусы и не можем остановиться, страдая ровно столько, сколько нужно для того, чтобы вместить в сознание сильнейшее эмоциональное возбуждение и достигнуть нового уровня осознанности, на котором сердца влюбленных начинают чувствовать друг друга, и мужчина смотрит из тайны своих глаз в тайну глаз женщины, и между ними любовь, которая никогда не перестает. Но до этого мы обречены переживать насилие и боль снова и снова, пока не перестанем бежать от них, вытесняя из сознания, или пытаться заглушить их с помощью удовольствия, потому что это бесполезно, и даже смерть не разорвет замкнутый круг, потому что колесо будет вращаться, как вращались полные глаза колеса пророка Иезекииля, или как в тот летний день вращались колеса велосипеда, а мимо плыли километры летних полей, и, кажется, еще цвел иван-чай, и едешь такой, едешь на велике по обочине трасы, по самой кромке асфальта, думаешь о Вирджинии Вульф, а воздух полон запахами трав, настолько

осязаемыми, что они почти чувствуются кожей, так же как и солнечный свет, легший краснотой на голую спину, руки, плечи и лицо. И, устав от упорядоченного пространства трасы, направляешь велосипед вниз на грунтовую дорогу, изрытую гусеницами танков. Думаешь: «Полигон рядом», когда где-то далеко в полях трещат, перекрывая трескотню кузнечиков, автоматные очереди. Но это почему-то не беспокоит тебя. Никакая война не может сейчас тебя побеспокоить, потому что в душе мир, и ты прыгаешь по ухабам грязной грунтовой дороги на внедорожном велосипеде, а потом сворачиваешь в поля, рванув руль в сторону, и сердце замирает от сопротивления ландшафта. И вот ты уже среди чудесного разнотравья и движешься к склону холма, где земля уходит вниз, и начинается березовый лес, но туда тебе не добраться, потому что на одной из неровностей земли руль ведет в сторону, колесо подворачивается, и ты падаешь в теплые пряные объятия земли, которая пропитана спокойствием и любовью. Ты чувствуешь, как где-то глубоко внизу текут подземные воды, окутанные тьмой и тайной, а под ними, через километры, бушует запертый огонь, но он заперт, как мужчина заперт в объятиях любимой, которая только что зачала от него.

ЖИВАЯ ТЕМНАЯ ПЛАНЕТА

Ты чувствуешь подземное движение, движение небесных тел, движение воздуха и движение души — эмоций и чувств. На ум приходят восхитительные моменты, когда цепи огня движутся в желтых, высушенных от жары полях и по склонам гор, где выгорает земля, и огромные опавшие листья субтропических лесов тлеют оранжево-красными кружевами, а пепел черными хлопьями летит в воздухе, будто черный снег. Все выгорает, как чувства бывших влюбленных, которые упустили любовь, променяв ее на билеты в дешевый драмтеатр, где их измученные души цепенеют в блеске бутафорских декораций и мрачных космических мистерий, когда двое создают с помощью слов, мыслей и прикосновений темную планету, сочащуюся болью и ненавистью. Она чернеет на темном, в синеву уходящем небе, как глаз диковинного животного, живой и блестящий, обладающий собственным сознанием и самобытием. И вот эта черная планета-зима приближается к миру этих двоих, снится во снах, присутствует в пророчествах и наспех составленных гороскопах. Ненависть подпитывается ненавистью, пре-

дательство — предательством, кошмар усиливает кошмар, тревога — тревогу, на небе возникает черная луна и смотрит в негаснущее окно, за которым полуодетая девушка кричит на молодого человека, хватаясь за нож:

— Будь ты проклят, мудака беспонтовый!

По полу разбросаны темно-красные хризантемы вперемешку с осколками хрустальной вазы. Парень заламывает девушке руки, и нож падает на пол. Девушка сопротивляется, пытается ударить, парень теряет равновесие, падает, она оказывается сверху, он лежит на спине, осколки хрустала вспороли кожу, и кровь выходит из глубоких порезов. Парень бьет девушку по лицу открытой ладонью. Девушка в ответ дергает за его джинсы так, что пуговица стучит о стену где-то в темноте, и замок с треском расходится. Она тянет джинсы вниз, садится на парня, трется об него, пока он не входит в нее, после чего, схватив его за руки, заводит их за голову и, пытаясь удержать их одной рукой, другой бьет его с размаху по лицу, чувствуя, как у самой в глазах темнеет от боли и ярости. На девушке неснятое нижнее белье, и парень, освободив руки, разрывает ткань, впивающуюся ей между ягодицами. Девушка вскрикивает чуть громче, парень заламывает ее руки за спиной и связывает их ее же собственными порванными трусами, рывком ставит ее коленями на хрустальные осколки,

САДЫ ЯБОНЕВНИ

загибает и дерет, перемазанную кровью, пока она не хрипнет от крика, а потом они лежат на мокром от воды, крови, спермы и слез полу, среди темно-красных хризантем, и смотрят куда-то вглубь себя, отдалившись друг от друга на световые годы, почувствовав сокрушительное столкновение их мира с темной планетой, термодинамически уравнивающей с окружающей средой все то, что было так дорого и так тщательно оберегалось.

Черный снег-пепел летит вверх к небу, кружева огня ползут обратно к источнику возгорания, возвращая к *не-жизни* сухие листья, потрескавшуюся землю и мертвые древесные корни. Опровергая необратимость и возвращая мысли к тому летнему дню, рождающему музыку в сердце скитальца по потустороннему миру, который идет по призрачным землям с обсидиановым ножом в окоченевшей руке, замерзшей слезой на щеке и мертвым черным котом за пазухой.

ТЕМНОЕ СЕРДЦЕ НОЧИ

Каждый шаг дается с трудом, каждое новое воспоминание все реальнее и реальнее, и все сложнее проснуться из одного сна в другой, чтобы добраться до темного, пульсирующего сердца ночи, которое иногда, облекаясь в одежду техносферы, бьется на пустых дорогах мигающими желтыми сигналами светофоров, а рядом с ним, в сумерках пьяных ночей, в безлюдных, заросших бурьяном парках, тусуются очарованные маргиналы, чье обжитое пространство — границы дня и ночи, любви и страсти, насилия и нежности, и на этих границах обреченные на крайность персонажи складывают трепещущие элементы мозаики пророчеств и визионерских откровений, кричат в хаос и спускаются в подземные дворцы бессознательного, построенные из грязи, крови, костей и человеческих внутренностей. Оттуда возвращаются не все, но те, кто возвращается, становятся целителями, если найдут правильные слова и ритм, хотя сами иногда выглядят как больные, и их находят, погруженных в молитву, стоящих на коленях в заброшенном храме без крыши, в котором идет снег, или потерявших последнюю надежду

ду в поисках Слова на дальних континентах, в джунглях, пустынях или городских трущобах Азии, где из-за угла нападают трансвеститы и, дыша перегаром, страстно шепчут:

— Hello, mista. Where are u from?

— Нет, нет. Мне пора, дружок..

— Where are u going, mista?

— Nowhere. I'm already at the heaven's door..

Где-то у водопадов, озер и снегов, вдали от шумных улиц, за пределами снов, отстояв в многовековой очереди за Ясным Светом Основы, к самому Богу на прием, и замешкавшись на пороге только лишь для того, чтобы послать благую весть, подмигнув и подняв сжатый кулак с выставленным вверх большим пальцем, расправляя сияющие крылья за спиной, опьянев от любви, склонившись в сияющем экстазе над темной бумагой, по которой бегут черные иероглифы, рожденные сложной системой синапсов, нейронов, космических ветров и энергетических полей, слагающих те самые слова, которые считываются с этого листа в этот сияющий нескончаемый момент, который и есть жизнь, полная чудес. Все предопределено, но меняется каждую секунду, разворачиваясь тысячами возможностей, из которых реальна только одна. И здесь, в переплетении хаотичных звездных связей, у самых корней потустороннего мира, — здесь бьется Темное Сердце Ночи, до которого добрался-

таки Даня Нараян с мертвым котом, припорошенным снегом, обсидиановым ножом, сделанным из окаменевшего сердца Лары Ратчадемноен ей же самой в крошечной темноте своей души, со слезой на щеке и длинной бородой. Добрался и кричит:

— Где моя Ратчадемноен!

Женский голос отвечает ему:

— Ты, Даня Нараян, склонен к крайностям и сексуальной зависимости, которая тебя до добра не доведет.

— Может, до добра и не доведет. Мне же сейчас нужно к Темному Сердцу Ночи.

ОГНЕННЫЕ ЗНАКИ НА КОЛЕСЕ ВРЕМЕНИ

Я верну свою Ратчадемноен той музыкой, которая звучала в огромном молле с кинотеатром, фудкортом и ресторанчиком, где можно жарить мясо и морепродукты прямо на углях, на таких маленьких жаровнях, и греться рядом с ними в тепле глаз своих любимых, а кругом Азия, сезон дождей, и темнеет рано, потому что близко экватор, и дождь может идти месяцами. Твой уютный съемный дом стоит почти у самого моря, и из дома надо ехать в молл, который находится на противоположном конце города, почти на выезде, если двигаться в сторону аэропорта. Ты выключаешь кондиционер, закрываешь стеклянные раздвижные двери, выкатываешь байк из-под крыши, заводишь его и выруливаешь под успокаивающее тарыхтение двигателя на узкую асфальтированную дорогу, прорезающую банановые плантации. Эта дорога приводит тебя на переполненную транспортом «королевскую магистраль», мокрую от дождя. В лужах отражаются огоньки заправок, реклам и ламп дневного света. Ты видишь мимоходом — картина мелькает на скорости и пропадает

ет — разбитый новенький байк, так неестественно выглядящий: вокруг какие-то осколки, и обнажившаяся лампочка поворотника мигает белым из-под треснувшего оранжевого пластика, и зеркала ослепли, — и в этом байке столько боли и внезапно горя, которые невозможно вместить. Ты видишь красные блики от мигалок машин «скорой помощи», пляшущие на изорванном дождевике в красных, что ли, пятнах, и дождевик этот скрывает что-то несуразное, как сломанная механическая игрушка. Что-то, что казалось таким реальным, но на самом деле уязвимо и мимолетно. Ведь когда странная и таинственная сила уходит, то мир пустеет, тело пустеет, холодеет, как луна, теряет гибкость, и упорядоченное движение становится разнонаправленным движением распада, форма проседает, теряет четкие очертания, уходит в землю, превращаясь в жидкость, биомассу, удобрение для цветов и пищу для животных. Жизнь снова берет свое, бесстыдно, не спрашивая мнений и разрешений, и даже в выбеленных дождями костях, в глазницах и под сводами черепа, в котором сияли когда-то твои глаза, поселится змейка или жучок и спрячется в них также, как раньше прятались в этом черепе нейронные схемы различных концепций и нейронные схемы боли и любви.

Все это промелькивает на скорости и оседает тревожным чувством, от которого встреча с лю-

бимыми становится еще теплее и приятнее. Повышается внимание, зрачки расширяются чуть больше, чем обычно, кругом так много света, и весь огромный молл оживает, наполняется волшебством, и благодаря этому волшебству что-то тревожащее и безымянное не может войти в эти светлые кондиционированные залы из влажной, душной внешней темноты. И оно, это непроявленное беспокойство, прячется где-то на границе воспринимаемого и иногда возникает проблесками на ночных трассах, когда идет дождь (уже не первую неделю), морские ветра гнут пальмы к земле, и гекконы скрываются от дождя под потолком — караулят насекомых, а потом — мгновение! — ты вцепляешься в руль и весь становишься дорогой, и пытаешься вытеснить поглубже в хранилища памяти по инерции вращающееся колесо, которое никуда уже не едет, кроме как в безвременье, на другую сторону, на свидание с самим Господом Вседержителем или, может быть, в бархатную тьму.

— Хочешь, я пожарю тебе морского угря? — спрашивает Ратчадемноен и поднимает палочками кусочек морского угря.

Я киваю и смотрю на мерцающие угли, а потом на тоненькую, хрупкую китайянку с ярко окрашенными губами. Ратчадемноен перехватывает мой взгляд, улыбается. Я вижу восходящие терра-

сы рисовых полей, скалы-столбы, Цзяо Жаня и Юй Вэнься.

Здесь, в азиатском безвременье, что может с нами произойти? Особенно на пустых освещенных автострадах, уходящих в глубь острова, где в темноте затихли джунгли и ночной воздух пахнет океаном, на глади которого видны яхты с огоньками и плоты морских цыган с длинными ртутными лампами.

Ратчадемноен собирает свои волосы в хвост — черный, как крылья тех птиц, которые галдели утром под окном, — и я понимаю, что все это уже было. Прошлое сливается в моем сознании с настоящим, но будущее не наступает, потому что когда-то давным-давно, несколько сотен чашек крепкого утреннего кофе, множество вечерних монашеских служб, пару десятков воскресных ночных рынков и шумных боксерских матчей назад, Ратчадемноен лежала на темно-синих шелковых простынях, и пряди белого дыма вплетались в черные пряди ее волос.

Это были тихие жаркие ночи, и иногда мы выходили на крышу многоэтажки, в которой снимали апартаменты, и там, наверху, было прохладно и свежо, и холодный свет ртутных ламп делал пространство каким-то нереальным, наводя на мысли о ночных автобусных станциях, затерявшихся где-то в джунглях. Станциях, полных холодного света,

где можно поесть острой холодной еды практически задаром и наконец-то покурить.

Лара курила и рассказывала мне подробности своего гороскопа: Марс в Скорпионе, Луна в Стрельце, огненные знаки преобладают или вроде того. Я ни черта в этом не понимал. Иногда она плакала, когда я спрашивал ее о детстве. Про детство она всегда говорила так, что я совершенно не воспринимал образы, как если бы ее слова были пустыми морскими раковинами, из которых жадные ловцы жемчуга выковыряли весь жемчуг. Но я помню, как крепко Лара обнимала свои загорелые колени, когда говорила. Она была ранима, так же как и я.

По утрам Лара в одиночестве бродила по пляжу, будто ждала, что приплывет корабль со всем потерянным за жизнь или, может быть, океан вернет ей все утраченные сокровища. Возвращалась она, когда солнце поднималось в зенит, и загар ложился краснотой на ее тело, оставляя светлые следы от купальника. Когда я целовал ее кожу, мои губы делались солеными, а ноги у нее были в песке. Однажды она залезла в постель с такими ногами, и я снял с нее ту одежду, которая оставалась, и повел в душ, где пахло джунглями из крохотного окна, прикрытого полупрозрачными стеклянными жалюзи. Лара стояла под душем, и поток воды разбивался об ее голову и плечи, падая брызгами на пол.

В нескольких сантиметрах от ее босой ступни притаился маленький черный скорпион. Ларины глаза были закрыты, она переступила с ноги на ногу, потом начала поворачиваться. В глазах у меня потемнело, а секунду позже мы с Ратчадемной уже лежали среди белых асфodelей, голые и обесточенные, как будто на нас было наложено заклятие молчания, сверхчувствительности и неослабевающего беспокойства. Казалось, что Лара спит, но по ее щекам катились слезы. Ее сердце билось в унисон с Темным Сердцем Ночи.

NUIT DE NOEL

Даня Нараян смотрит на Лару Ратчадемноею, и столько нежности в нем, что он почти развоплотился, и даже мрак подземного царства превратился для него в новогоднюю ночь с гирляндами, елкой и подарками под елкой. Как будто весь мир подчинен волнительному ожиданию, когда бо-решься со сном, чтобы дождаться полуночи, но, не дождавшись, засыпаешь на руках у мамы, и тебе снится, что она гладит тебя по голове, и снег идет в разноцветной, расцвеченной огоньками предновогодней темноте.

Этих маленьких чудес из детства хватает на всю жизнь, чтобы сохранить ощущение волшебства и продержаться до того момента, пока ты сам не создашь новое чудо, которое поддержит тебя и всех вокруг тебя. И когда ты будешь спускаться под землю с обсидиановым ножом в побелевшей от напряжения руке и в черной обезьяньей короне, то созданные тобой чудеса сильно тебе пригодятся, чтобы не пропасть.

Даня говорит с Ларой, как говорят с впавшими в кому больными, которые лежат уже несколько

лет, не просыпаясь. Говорит с любовью и безнадежностью.

— Помнишь ту китайку из Чиангмая, которая продавала сигареты и выпивку в своем маленьком магазинчике? Ну, ту, которая еще никогда не улыбалась и всем своим видом показывала, что главная ее задача — смотреть телевизор, а торговать она будет только в качестве большого одолжения. Я любил эту грубую китайку, потому что она напоминала мне продавщиц из детства. В тот вечер я зашел в ее крохотный магазин, взял пару связочек сигарет, продававшихся здесь как бы поштучно, протянул хозяйке деньги, поглядывая в телевизор, получил сдачу и вышел на улицу. На сердце немного потеплело.

Ты ждала меня, сидя на лавочке рядом с полицейским участком. Ночь была тихой, и вокруг не было никого. Ты пила кофе и курила принесенные мной сигареты, а я чувствовал присутствие ангелов, которые нас оберегают, и сказал тебе об этом. Ты смешно фыркнула — дескать, ангелов не существует, — и тогда я рассказал о той новогодней ночи, когда мне было, кажется, пятнадцать, и я вернулся под утро из гостей немного пьяный от любви, и у меня на голове был светящийся фосфорным светом бледно-синий обруч, как нимб, который сполз немного набок. И отец уже спал, а я

САДЫ ЯБОНЕВНИ

подумал, глядя на него, что он такой одинокий после смерти мамы и такой родной.

Знаешь, иногда я делаю опасные, глупые вещи, а на самом деле просто хочу попасть в детство, в семью, где все хорошо. Представь, что папа любит маму всегда и безмерно, а мама носит тебя внутри, и папа целует как бы вас обоих, и мама любит папу, и через эту любовь ты растешь в мамином животе, как василек прорастает из семечка, и эта любовь поведет тебя по жизни, даже если вокруг будут только темные поля, где застыли белые, звенящие от мороза цветы асфоделей, утонувшие в вязком воздухе-спирте.

ЯБЛОЧНЫЙ ПИРОГ

И этот воздух волнуется в недвижимых полях, над которыми семь дней уже не всходит солнце, потому что пришла сгорбленная старуха ночь и в заплечном мешке у нее кости зимы. Люди закрываются от нее в теплых домах, где краны на батареях выкручены до предела, окна закрыты наглухо, на елке горят гирлянды, холодильник ломится от еды, пахнет мандаринами и оливье, одеяла и подушки ждут ребят, и телевизор орет на полную «песни прожитых лет»... или как они там называются... И не дай бог кому-нибудь оказаться в снежном поле, среди застывших, льдистых асфоделей. А вот Даня Нараян и Лара Ратчадемноен оказались. Они лежат рядом, и она, бледная и спокойная, как тогда в поезде, когда забыла даже как его зовут, а он лежит, как лежал тогда на осколках хрустали и лепестках темно-красных хризантем, практически не чувствуя ничего, кроме боли от порезов и боли от измученной души.

Даня Нараян рассказывает бледной и спокойной Ратчадемноен про волнительную предновогоднюю суету, когда Ратчадемноен посыпала весь стол мукой, нарезала яблок, добавила в них сахара

и корицы, и у нее в руках скалка, а из одежды только один фартук, который даже грудь не прикрывает, и вот, вместо того чтобы делать пирог, Лара отвлекается, и вся попа у нее в муке, потому что Дана посадил ее голой попой на мучную столешницу, а потом Лара и спереди оказалась белая, потому что в восхитительной динамике легла грудью на стол, а потом снова села, а потом спиной легла, вся спина белая, и свет какой-то рассеянно-теплый, и на теплой плите стоит турка с кофе и смазанный противень, а духовка как бы горячая даже, и Лара с Даней в постоянном движении, и в опасной близости от них стоят хризантемы в хрустальном графине, а за занавешенными окнами замерла холодная снежная темнота, но на кухне-то тепло, и гирлянда мигает. Пирог не готов, даже близко нет, все вокруг в муке, а влюбленные закрылись в душевой кабине и долго-долго стоят, обнявшись, под горячими струями воды, которые смывают муку с разгоряченных тел. И любовь чувствуется как какая-то светлая и тончайшая сверхсубстанция, льющаяся между двумя солнечными сплетениями, и что-то вроде эндорфинов в крови, хотя, должно быть, изменения в химии тела очень сложные, потому что в области солнечного сплетения горячо, но не от воды, и свет какой-то рассеянный, и его очень много — обычно так не бывает.

Вот и сейчас Даня Нараян пытается отогреть похолодевшие ладони Лары Ратчадемноен, сует их за пазуху, дышит на них, но это не помогает. Лару постепенно заносит снегом, и Даня откапывает ее — руки от холода уже ничего не чувствуют, — как будто он откапывает из-под снега розы, положенные на могилу в начале зимы, и они, замерзшие, еще сохраняют цветочный запах, оттененный холодом.

ОБРАЗЫ НЕНАВИСТИ И ГРЯДУЩЕГО ОПУСТОШЕНИЯ

Ратчадемноен говорит во сне, и ее монолог составляет призраков выходить из-под земли. Она говорит об одной маленькой девочке, которой не хотелось возвращаться домой, потому что там каждый раз появлялся новый папа, и ни один из них не был настоящим; про то, что этой девочке постоянно приходилось врать — и дома, и в школе, и во дворе, — а как только она начала немного взрослеть, приходилось драться, и не будем забывать, что девочки-подростки из неблагополучных районов особенно жестоки. Насилие, так же как и ложь, было везде, и ни на секунду нельзя было расслабиться, потому что даже мама не могла отгородиться от этого жуткого мира, и он проникал повсюду. Губы Ратчадемноен совсем посинели и почти не двигались, что-то шепча.

— Пора выбираться, моя дорогая? — тревожится Даня. — Тебе все это только кажется. Бери мою левую руку, хоть она совсем развоплотилась, и пойдем на выход, к свету, и если выберемся из подземного царства, то сходим вместе к семейному психологу, в центр коррекции, или, в крайнем

случае, на йогу запишемся, в кино куда-нибудь, только пойдем: надо преодолеть притяжение к Темному Сердцу Ночи. Помнишь как мы готовили яблочный пирог, и ту старую китайскую халду, и наш дом на берегу моря?

— Нет. Ничего я не помню, — не открывая глаз, говорит Ратчадемноен холодно и тихо. — Ничего этого не было, или моя бессмертная душа просто забыла об этом, как твоя забыла о дне именинника, и мне остались только утопленники в затоне, заброшенные здания со вскрывшимися друзьями детства, стоящими на коленях в крови и моче перед фактом неотвратимой смерти, на пороге которой ты с ужасом осознаешь, что там не будет успокоения, и перспектив не будет, как в жизни их не было, а будет только бесконечно повторяющийся ад внутри семьи или его бесконечные посмертные отражения. Опять твои кошмары? Из темного окна кто-то смотрит? Нет, мама, никто не смотрит. Там бьется Темное Сердце Ночи, а тебя я ненавижу, и всю твою жизнь, которая будет повторяться круг за кругом, приближаясь к дьяволу, упавшему с неба, и врезавшемуся в промерзшую бесплодную землю, как невзорвавшаяся ржавая бомба. А ты, — Ратчадемноен тычет пальцем в Нараяна, — пришел сюда, в эти проклятые земли, посмотри на себя — насмешка над человеком, бритоголовый, пальцы все в татуиров-

ках, и вода поднимается к твоей шее, пока ты лежишь пьяный в ванной, а потом опять кровь смываешь с разбитого лица, и ни на что ты не годен, никем не стал, нищий стремный бродяга, король-мудак в своем мудильном королевстве. Ты теперь — мое отражение. Видишь? Мне под кожу вживлены демоны и черные звезды — рассвет не наступит, ангелы не прилетят, выздоровление не придет, и в этой нескончаемой ночи не будет приюта ни тебе, ни мне.

У Дани перехватывает дыхание на мгновение, и подступают образы: на ветреном углу грязной улицы стоит мальчишка лет пятнадцати, за плечами сумка-мешок с вещами, которые не более чем мусор, вроде той одежды, которая на нем надета: три футболки, одна поверх другой, клетчатая черно-белая рубаша, свитер для тепла и обязательная толстовка с капюшоном. И ему кажутся отблесками рая маленькие магазинчики с грубыми мужеподобными продавщицами, потому что в магазинчиках этих тепло и полно еды, а еще заправки очень нравятся, которые светятся в темноте одиноких холодных трасс, и железнодорожные станции с грязноватыми зданиями вокзалов, в которых можно забыться тревожным полуявьяполусном.

Даня пожимает плечами и тянет с головы стальную обезьянью корону, прорезая кожу на

лбу практически до кости. Корона падает на снег, и рядом в снег уходит черный обсидиановый нож, и мертвого котика занесло снегом, и стилет упал в красный снег, и кровь из черной превратилась в алую, постепенно перестала течь, свернулась в незаживающих ранах, а та, что текла, смыла синие татуировки с рук Дани Нараяна, который начал играть свою музыку. И эта музыка звучала почти неслышно вначале, а потом все громче и громче, и перекрыла вой ветра и свист призрачных мечей, а потом она возобладала над всем, и ветер успокоился.

И Даня пришел в себя, как будто проснулся от шума дождя по крыше, хотя последние десять тысяч лет зима не прекращалась, и впервые за десять тысяч лет у него не было иллюзий. Он взял холодную, полупрозрачную руку Лары Ратчадемной в свою холодную, полупрозрачную руку, и Лара нехотя подчинилась, хоть и открыла поначалу свой маленький красивый ротик, чтобы что-то сказать в знак протеста, но Даня чуть-чуть сжал ее руку и пошел, влекомый музыкой, по темным, выжженным, покрытым черным снегом полям к выходу — прочь от Темного Сердца Ночи, — к легкой игре светлячков и блеску теплых мерцающих звезд. И каждый шаг был как пытка, но Даня чувствовал, что раны затягиваются, сознание успокаивается, рука в его руке постепенно теплеет и раз-

САДЫ ЯБОНЕВНИ

мягчается, как будто проходит трупное окоченение. И они шли по глади свинцового моря, сквозь снег, без всякой лодки, потому что любовь творит чудеса. Но чудеса, там или нет, а идти сквозь пустыню потустороннего мира — это совсем не то же самое, что уютная квартирка в центре зимы, в которой есть кресло у батареи, белые хризантемы и звезды-снежинки из бумаги или какой-нибудь уютный диван, на котором вы засыпаете, обнявшись, и снег идет за окнами, и укрыты вы не снегом, а теплым пуховым одеялом, и под вами темно-синие простыни, а вовсе не рефаимы, которые смотрят из-под темной воды.

Даня думает обо всем об этом и вдруг перестает чувствовать руку Ратчадемноен в своей вмиг похолодевшей руке. В его голове проносится мысль: не оглядывайся.

Он и не оглядывается.

Он видит где-то вдалеке, на другом берегу, холмы, березы, липу и звезды над ними.

И комнату, залитую лунным светом.

ВОЛХВЫ

После подземного царства мир кажется слишком ярким. Слишком много света, много людей, много звуков: дети кричат на детской площадке, играя в снежки, и глаза у них сияют, и у мамочек сияют, и у папочек, и у пьяных дяденек, которые рядом пристроились и на надувном колесе катаются. Все это очень ярко после подземных царств. Даже слишком, как будто волнами накрывает, только не солеными и теплыми, а светлыми, звучными, немного пьяными, немного сладковато-цветочными от женских едва уловимых запахов — шампунь, что ли, цветочный или духи, — и ты идешь сквозь тихо падающий снег, который настолько воздушен, что движется вверх и вниз в почти недвижимом воздухе. И в окнах кирпичных бело-красных домов загораются оранжевые теплые огни, и ты понимаешь, что наступает вечер, и приходит ночь, полная запахов талого снега и свежести. Сосновые леса подступают к домам почти вплотную, стучась косматыми ветвями в окна, и березовые леса стоят прозрачные на просвет, и между белых стволов загораются первые звезды, или это снежинки блестят в свете фо-

нарей? Ты смотришь по сторонам и видишь снег, и темное-синее небо по краям горизонта, и темно-серый клубящийся ворох облаков над головой. Ты стоишь, закрыв глаза, посреди улицы. Фонари разгораются все ярче, и ты попадаешь в круговорот пространства, в кружение звезд, в завихрения воздушных потоков, видений и воспоминаний. Ты видишь с закрытыми глазами, как под сводами старой полуразрушенной церкви кружатся ангелы — так же тихо, как падает снег. А вокруг церкви горят огни, и машины ездят по дороге, и сосновый лес волнуется немного, и деревья чувствуют кружение ангелов под сводами, так же как они, деревья эти, чувствовали кружение мотыльков над соцветиями лесной ангелики. И ты думаешь, что разные всякие люди всю последнюю тысячу лет возвращались из подземных царств, и им было слишком ярко под солнцем, и вечером под сводами храма для них кружились ангелы, и не важно даже, когда это происходило. Просто раз за разом открывались какие-то внутренние шлюзы то у одного человека, то у другого, и ангелы пели, и об этом старались рассказать, чтобы опыт не пропал. И вот, ты думаешь, что надо бы все-таки рассказать, пусть и сумбур какой-то получается, но хоть как-нибудь попробовать. Дверь в квартиру открываешь, а там настольная лампа горит — забыл выключить.

чить — и пахнет как будто пряностями и кофе, и ты садишься за стол, поближе к лампе, чтобы быть в желтом круге света, и начинаешь писать, а точнее, волхвовать. Думаешь сразу, что «волхвовать» — это от слова «волхвы», а волхвы — это очень странный перевод слова *magi*, а маги — это зороастрийские жрецы, и одним из магов был Дания Нараян.

Это произошло в декабре. Возможно, звезды и календари за тысячи лет сместились, но в этот день солнце, истекая кровью, так и не вырвалось из цепких рук покойников Миктлана. Или нет. Сейчас говорят по-другому: вокруг беспокойной звезды со всякими там огненными протуберанцами летела по эллипсу планета. Но это вообще-то нам не так важно, потому что кое-где на Земле вообще нет зимы и про Рождество не знают ничего, а кое-где зима никогда не кончается. Или вообще нет этих шаров энергии и живых планет, а есть только Дания Нараян и его единственное солнце — Лара Ратчадемноен, которая ему глазами блестит при встрече, и для него она словно солнечный свет, как это солнце вообще ни назови.

Так вот, когда-то давным-давно три мага увидели звезду в самое темное время, когда солнце все равно что не взошло, а иначе бы не увидели, и у них было нечто вроде новогодних праздников,

после которых многих недосчитались, потому что кто-то спился, кого-то посадили, а некоторые с собой покончили под новогоднее обращение президента, и вот в это мрачное время один увидел звезду.

— Раньше такой не было! — говорит двум своим приятелям, которые, так же как и первый, не пьют, не курят, телевизор не смотрят, а только молятся.

Хотя, вообще-то нет. Иногда кальян курят и вино выпивают. И молодые девушки в садах зимних им подносят шербет, а днем ребята эти пробуют бесплатный кофе из офисной кофемашины и баланс банковской карты проверяют. Зороастрийцы, что с них взять...

Но один видит звезду, и это все меняет.

— Надо идти, — думает.

И друзей подговорил. А они взяли с собой целый караван всяких штук, короны свои спрятали (потому что еще и королями были) и пошли. Говорят, что в своем трудном пути они не раз жалели о девушках, чья кожа как шелк, которые шербет им подносили, и о дворцах и террасах, а голоса им шептали, что все их путешествие — глупости. Но короли-маги не сдавались, даже когда погонщики каравана разбегались пьяные или просто выпить хотели, и женщин хотели, и караван вставал иногда, и никак не мог царей этих до места

доставить, до звезды до этой. В оазисах люди почему-то не очень радовались путешественникам, и заламывали высокие цены за ночлег, и шлюх приводили, и сами-то цари не покупали шлюх, но караванщики покупали, и многих недосчитались в итоге, а один даже триппером заразился. Вот как тяжело было идти! И в пустыне иногда, в ночи, голоса звали путников к себе, приманивая сокровищами, золотыми идолами и кредитами под низкие проценты. И здесь тоже многие из каравана остались, потому что думали, что сокровища — это главное. Но три короля-мага не оставались, и перед ними звезды над горизонтом вставали, а позади за горизонт уходили, но одна горела постоянно, не двигаясь, потому что она была волшебная.

Первый город был пуст, там только какой-то очередной обезьяний царь все к рукам прибрал — говорил, что честный и о народе волнуется, но вел себя как обезьяна, конечно же. Такие теории Дарвина еще в Древнем мире доказали на практике.

— Нет здесь никого, — говорит. — Вы ошиблись, пыльные бродяги. Я здесь царь!

Но про себя перепугался, что кто-то захочет его сместить, ввел цензуру, войну затеял, и его рейтинги взлетели. А волхвы дальше пошли. Уже на-

угад на самом деле, и решили они свои подарки малоимущим раздарить.

Пастухи там какие-то, что ли, были, они-то и говорят царям-скитальцам:

— В хлеву посмотрите, там, вообще-то, мадонна с младенцем, и он-то и есть настоящий царь.

— Вот это новость! — отвечают волхвы. — В наше-то время постмодернизма как такое возможно?

Но заходят, а там спрятанный от всех младенец, и он-то и есть настоящий царь, сразу всем это понятно, и всем понятно, что его опять замучают, бедолагу.

Волхвы кланяются, оставляют в хлеву все свое золото, ладан и смирну, думая, что младенец станет все-таки царем и святым, и сразу о бальзамировании неплохо бы подумать, но идея для них была совершенно разрушительной — не благодатью они наполнились, а жаль. Они, конечно, немного подготовили себя в скитаниях, но все равно были сокрушены этим младенцем, как будто они все это время зря жили, ерундой какой-то, непонятно кем внушенной, — богатство там какое-то, путешествия, царства призрачные, работа хорошая, слава, наркотики, плотские утехи, молодые девушки и внебрачные связи. И еще всякое такое, когда людей используешь или как к рабам к ним относишься и по праву сильного клюешь того, кто снизу, а сверху тебя клюют, поэтому тебе вершина

пищевой пирамиды очень желанна, но она вообще-то много кому желанна, и там, наверху, бывает очень страшно. А когда страшно, то о любви можно сразу забыть. Но наши цари-волхвы уже не могли забыть, а куда в старом мире дальше идти — совершенно не понятно. Им не хотелось думать, что в животном царстве может и не найтись места для любви — только для сплошного насилия и унижения. Но это мы еще посмотрим.

ПОТЕРЯННЫЕ ЦАРСТВА

И вот Гаспар — первый волхв — идет по своему царству, где над глинобитными кубами домов возвышаются башни безмолвия, и над ними вьются пустынные орлы, клюют тела огнепоклонников, а Гаспар смотрит на это, и смотрит еще на вечный огонь, которому зороастрийцы поклоняются.

— Горит, огонек, — думает.

И поднимается по многоступенчатой лестнице к ступенчатым садам, над которыми возвышаются крыши его роскошного дворца. Там в прохладных залах Гаспара обступают девушки, павлины и мавры с опахалами из пальмовых листьев. Самая красивая девушка ведет Гаспара в залу, где дремлют леопарды, и рассыпаны подушки, и расстелены шелка под узорчатым балдахином. Девушка эта скидывает одежду, раздвигает стройные ноги и касается пальцами распутившихся от желания половых губ, отнимает пальцы, и за ними тянется ожерелье из тягучей влаги. Но Гаспар смотрит рассеянно и с недоумением думает о своей разгоревшейся плоти. Он видит, что голая наложница перед ним красива, видит ее звериную похоть, видит

ее груди с большими коричневыми сосками — будто вот-вот потечет молоко.

Казалось бы, чего тут думать, но Гаспар уходит растерянный от шелкового ложа, леопардов и женщин, отклоняет девичьи руки, подносящие ему воду и финики, и отправляется к башне безмолвия, полной костей.

— Совсем сдурел старичок, — шепчутся девушки во дворце.

Его спутник Бальтазар вернулся из странствий в свою долину, над которой возвышается корона белых гор, и если на них смотреть в ясную погоду, то даже видно, как ветер сдувает снег с заоблачных вершин и легким белым шлейфом уходит в сторону. А другие горы, которые пониже, такие высокие, что половину неба закрывают, и на их коричневых склонах не видно деревьев или почти не видно, но они там есть. И дворцы Бальтазара все сплошь черного цвета с деревянными резными ставнями, и ступы на улицах черные, и алтари черные, все кровью перемазаны — где козлиной, а где человеческой.

— Мрачное царство, — думает Бальтазар.

Но во дворце, на разноцветных коврах и подушках, его ждет царица, и она когда целует Бальтазара, то он, если глаза закрывает, видит разноцветную подвижную мозаику вокруг изгибов ее тела,

а тело сияет все, как будто яркий свет сквозь воду просвечивает, но окружает царицу огонь, и Бальтазар вместе с ней тоже сиять начинает, и чувствует, что его царица, как здешняя земля, спокойная и горячая от подземного огня, и если представить, что земля, на которой стоит дворец, живая, то они — Бальтазар и его царица — как две песчинки на поверхности, только он связывает своей силой небесные сферы, а она — земные и подземные, и у него перед глазами небесный белоснежный город с тонкими шпилями на башнях, а у нее — темные изваяния из подземной тьмы, аркады и балюстрады, уходящие по спирали куда-то вниз, и над каждой аркадой — сложнейший узор, а под сводами — танцующие многорукие богини из матового обсидиана или другого камня, который свет поглощает.

И вот Бальтазар рассказывает своей царице о путешествии, и о том, что хочет отказаться от своего мрачного царства, а его царица говорит ему:

— Не дури. Зачем тебе это?

Бальтазар и сам до конца не понимает зачем, но говорит упрямо:

— Я так жить отказываюсь. Лучше мне вообще не жить.

Тогда прекрасная царица идет по черным улицам к алтарю и берет чашу с жертвенной кровью и пьет из нее, и по ее губам и подбородку кровь те-

чет на ее грудь, а потом на живот. Она пьянеет совсем и возвращается к Бальтазару, но тот в задумчивости, и она пытается его соблазнить, положив его руку себе на грудь, кровью перемазанную, но ее царь сам не свой, и хоть тело его реагирует и огонь он видит, но взгляд его рассеян, и как будто он не замечает ничего.

— Да и черт с тобой, — шипит пьяная царица и напивается до беспамятства.

А Бальтазар в задумчивости идет в сумеречные храмы, возвышающиеся в горной долине, и засыпает там, и видит сон, в котором звезда освещает землю и, в принципе, могла бы Царство утвердить, но вместо этого падает через все небо, оставив след-историю, и для того, чтобы Царство восторжествовало, нужно каждому найти свой путь и смирить себя, и вообще.

А третий волхв — Даня Нараян — вернулся обратно из долгого путешествия в свой маленький городок и понял, кажется, на мгновение, что хочет сказать ему это странное существо, похожее на небесную грибницу, часть света которой поймана в обезьяньем теле, и у бедного животного вылезли все волосы от этого, только на голове остались и еще кое-где, хотя есть поволосатее люди, конечно почти как обезьяны, шерстью заросшие, а есть такие, которые специально бреют себе голову,

вроде буддийских монахов. Как, например, тот монах в пустом маленьком храме, рядом с которым стояла старая, почерневшая от времени ступа, покрытая барельефами, и кое-где лепнина откололась даже, и статуи, как бы влившиеся в ступу, смотрят пустыми глазами, и женщины-птицы с грудью тоже смотрят, и олени, внимающие Будде, и демоны, похожие на летучих мышей, — все они наблюдают за одиноким монахом очень внимательно. А он — сухощавый старик в марлевой маске — метет не праздничный крохотный двор, сквозь плиты которого прорастает сорная трава. Метет себе и как будто не замечает змееподобных хищных нагов-охранников, и розовые ядовитые цветы тоже не замечает, и строительный мусор. Но ступа все равно выглядит нарядно, и наш монах это знает, но все равно виду не показывает. Это если вспомнить белые ступы Ват Суан Док и как колокольчики звенят на ветру на крыше храма, и еще вспомнить, сколько людей на праздники вокруг собирается, когда ночное небо теплеет от летящих оранжевых фонариков, которые сотнями взлетают из рук счастливых людей, и кое-где запускают салют, поют или тихо беседуют под деревьями у спокойный каналов, полных рыбы. Вот если все это вспомнить, то в это время наша ступа стоит одиноко, и грудастые птицы с женскими лицами замерли, полные красоты, но некому на них

любоваться, и шпиль ступы поблескивает разноцветными стеклышками в городской ночи, а за стенами — улица, залитая белым холодным светом. И если идешь по ней ночью, то из-за света фонарей иногда кажется, что в воздухе стоит рассеянный дрожащий туман, и он и есть истинная природа вещей, которые видятся тебе во сне, а ты почти всегда один в этом сне, и тебе это нравится — быть человеком, который видит сон о безлюдных улицах, круглосуточных магазинах с холодным кофе и затихших дорогах, у которых на берегу канала ты ложишься на прохладную каменную лавочку, куришь, слушаешь только тебе слышную музыку, пьешь свой кофе со льдом, и к тебе подходит бирманский парень-бродяга, который очень вежливо спрашивает сигаретку, и ты протягиваешь ему несколько сигарет, но не все, конечно, чтобы всем было удобно и хорошо, а он, удивленный не столько количеством сигарет, сколько участием в твоём взгляде, кланяется тебе со сложенными чуть выше груди руками и уходит с немного согрешившимся сердцем в пространство своего одиночества, оставляя в одиночестве тебя, а ты думаешь об одинокой, всеми забытой почерневшей ступе, самой необычной и красивой в Чиангмае, но почему-то не популярной, к которой как ни придешь — не увидишь никого, кроме единственного монаха в марлевой маске, который тебя

не замечает даже, пока двор метет, и тебе представляются суровые дзен-мастера с бамбуковыми палками, которые лупят своих учеников за всякие глупости. Но потом ты думаешь еще вот о чем — вдруг монах этот из бедной какой-нибудь семьи и почти не жил с родителями, а из воспоминаний детства у него осталась пара образов, вроде хижины в джунглях и старой бабушки, у которой коричневое от загара лицо и глубокие морщины, и бабушка эта готовит восхитительно пахнущий рыбный рисовый суп, очень простой, но с голодухи очень вкусный, и, кажется, кроме риса и рыбы, в нем и нет больше ничего, но как же вкусно, черт возьми! А потом деревня попадает на орбиту наркотрафика, пульсирующего по артериям Золотого Треугольника, и со временем совсем исчезает, превратившись в перевалочный пункт для солдат наркобарона Кун Са, а монах наш становится скитальцем, просит милостыню, и женщины рядом с ним нет, но не потому, что он идет на духовный подвиг, а просто потому, что нет денег, и душа не зажила еще после смерти близких, и ничего делать толком не получается, даже молиться, а точнее, медитировать. Потом наш монах становится монахом и видит в монастырях всякое — суровую дисциплину, неравенство, разврат. Но сам он, возможно, до сих пор травмирован и считает свою жизнь пустой, но идти ему особо некуда, если честно. Он

иногда закрывается где-нибудь в келье и лежит неподвижно, глядя в потолок часами, и ему нравится мести этот двор рядом со старой, всеми покинутой ступой, на углах которой расселись птицы с женскими грудями, и иногда как будто ветер откуда-то приносит запах рыбного супа.

Хорошо ли это и надо ли что-то менять? Если часть света этой огромной небесной грибницы была поймана в старом высохшем теле, которое все еще как величайшая драгоценность видит плиты, через которые пробивается трава, слышит тихо клацающие на ветру колокольчики, вдыхает запах улиц и запах рыбного супа, и в этом теле, как в многоступенчатом субургане, гнездятся таинственные существа, и движутся образы змееподобных водных чудовищ с кривыми острыми зубами и безукоризненными инстинктами убийцы, чье существование на этой земле полностью посвящено насилию и чья единственная добродетель — быть быстрым, незаметным, сильным и безжалостным, — такие вот чудовища. Но в этом теле есть ведь и прекрасные женщины-небожители в коронах, и кроткие олени, и маленькая птичка. И если это так, то разве наш монах несчастен в своей неприкаянности? И пусть через него, может быть, не проходит так уж много общего для всех света, который иногда выражается в материальных благах, знаниях или здоро-

вом потомстве, и ему вроде бы ничего не остается, кроме как мести этот двор и тихо безвестно умереть. Он прекрасно знает, что никогда не получит статусного веера-опахала и его фотографию не повесят на стену в храме. Но что тогда? Разве он не видел здешнего величия? Не чувствовал разве боли и любви, не мел ли двор, в конце концов? И так уж хуже праздничной многолюдной ночи та ночь, в которой человек остается наедине с собой и тихим шелестом деревьев в полумраке? Сидит и думает про монахов, и ступы, и рыб в канале, на которых по вечерам охотится городская беднота, а потом кто-то продает эту же рыбу, только жаренную на маленьких передвижных тележках-жаровнях, или даже суп рыбный варит.

И может быть, несправедливости и травмы, которые нельзя поправить, а только с ними смириться — они как разные краски в общей палитре или разные русла для одного и того же света, и если открыть все шлюзы, а это рано или поздно должно произойти, то свет затопит все твоё естество и станет необъятным спокойным океаном, высвободившимся из своих берегов. И то, что казалось важным, когда записывалась личная история, окажется всего-навсего прочитанной вслух историей. И не имеет значения, брешь ли ты голову или все твоё тело волосатое, как у обезьяны.

КАК НИКОГДА ХОРОШО

И вот, Даня Нараян просыпается с любимой Ларой Ратчадемноен, обнимает ее еще сонную и думает: как такое возможно?

Они вместе готовят завтрак, и словно легкие невидимые крылья прикрывают их маленькую уютную квартиру от внешнего безумия. Солнце светит в окна, и немного дует от балконной двери, и немного беспокоит что-то внутри, но постепенно от полусонных поцелуев и прикосновений становится теплее, потом в доме включается электроплита, готовится кофе, включается духовка, рассыпается по столу мука, и эта замкнутая уютная реальность дает надежду и возможность любви.

Ты возвращаешься со своим поредевшим и потрепанным караваном, и здесь вовсе никакие не дворцы, и иногда откуда-то сквозит отчаяние, как холод от балконной двери. Но потом приходит Лара Ратчадемноен и говорит:

— Пойдем погуляем.

А за окнами — солнечный зимний день, и небо кутается в одеяла снежных облаков и уходит в пространство собственных сновидений, и снег сып-

летя с неба, как пух из этих одеял, и горят тихие вечерние окна с бумажными оленями и снежинками (с Нового года не сняли еще), и хоккейная коробка у леса освещена прожекторами, которые делают снег еще белее.

Даня и Лара стоят у хоккейной коробки и пьют кофе из бумажных стаканов. В свете прожекторов по сияющему ледяному пространству кружится маленькая хрупкая девочка на коньках. Она плавно скользит по льду, вращается на месте вокруг своей оси, выходит из центробежного движения, раскидывая руки, изгибаясь тонким сильным телом, и снова отправляется в плавное скольжение. Видно, что она наслаждается движениями своего тела. Она не замечает ни ночи, ни звезд, ни узора подсвеченных луной кружевных предвесенних облаков. Ничего вовне, только внутреннее пространство катка, обтекаемое и упорядоченное, как социально одобренная жизненная стратегия: скругленные углы, свежескрашенные бортики с рекламой нефтяной компании, барьер из сетки-рабицы, динамики с музыкой, чтобы не грустить и чувствовать непрекращающуюся радость под пологом искусственного белого света.

Девочка пролетает на скорости близко к бортику, рядом с которым стоят Лара и Даня, улыбается им, и те почти синхронно улыбаются в ответ, под-

нимая вверх стаканы с кофе, как бы в честь ее будущих побед. И Даня с Ларой глядят на эту девочку на катке, в чьих движениях читается стремление получить похвалу своим способностям и невинное желание поделиться магией одиноких зимних вечеров. Поделиться чувством превосходства над ограничениями тела: ну, давайте восхищайтесь мной, и даже не столько мной, а тем, чем восхищаюсь я, — переполненным силами юным телом, необычайным скольжением и вращением, как будто нет большего счастья, чем проводить вот так зимние вечера, наполняя их нездешней легкостью и отблесками неземной благодати. Вечера, когда не надо ни есть, ни пить, ни делать уроки, а только скользить в белом свете, ловя отблеск Царства и улыбки тех, кто ловит отблеск Царства.

— Была сегодня у бабуси? — спрашивает Даня, приобнимая Лару свободной рукой.

— Да, заходила к ней.

— Как у нее дела?

— Для ее восьмидесяти девяти лет очень даже неплохо. Кажется, она совсем отошла от болезни. — Лара греет ладони о бумажный стакан с кофе. — Я спросила у нее, как она спала сегодня. Говорит, как никогда хорошо.

— Как никогда хорошо, — тихо повторяет Даня.

Лара улыбается и пересказывает их с бабусей разговор:

Она сказала, что легла в октябре. Потом немного смутилась, посмотрела на свои узловатые руки и начала загибать пальцы.

«Раз, два, три... Десятый месяц. Октябрь? Да. Часы на стене показывали октябрь. В октябре легла, а проснулась — стрелка была на восьмом месяце».

«Август?» — переспрашиваю я.

«Чего?» — не слышит бабуся.

«Купить вам чего-нибудь?» — повышаю я голос.

«Купить? Нет. Сама схожу. В магазине видела, как женщина покупала драконье мясо. Мясо дракона хочу приготовить».

«Дракона?»

«Дракона? Нет. Птица-то на „Д“».

«Дятел?» — неуверенно предлагаю я.

«Точно. Дятел. Или нет. Какие еще птицы на „Д“ бывают?»

«Вообще в магазине обычно продают курицу, гуся, индейку».

«Индейку! — радуется бабуся, сияя голубыми глазами. — Индейку! Индейского мяса приготовлю».

«Снилось вам что-нибудь сегодня?»

«А?»

«Снилось чего-нибудь?!» — кричу я.

«Да не поймешь. Мама приходила. Стояла молча у кровати. И с работы приходили. Все уже покойнички теперь».

«Часто их видите?»

«Чего?»

«Часто их видите?»

«Часто».

«А сейчас что-нибудь видите?»

«Постоянно вижу. То лиса черная пробежит, то птица пролетит. Или вот из тряпки, которой столы протирать, столб света. Видишь?» — Бабуся посылает на столб света.

«Нет. Не вижу», — отвечаю я.

«Ничего, ничего. Ты иди, а я причешусь да пойду в магазин. Ходить-то надо».

«Хорошо. Вы только осторожней».

Даня чуть крепче сжимает Лару за плечо, кивает девочке на коньках, сверкнувшей в ответ улыбкой, и вместе с ветром и едва уловимой музыкой Даня и Лара идут, попивая кофе, и любовь покрывает их своими невидимыми покрывалами.

Когда я был обезьяньим королем, я думал как обезьяний король, рассуждал как обезьяний король, говорил как обезьяний король, но когда я перестал быть обезьяньим королем, я отбросил все обезьянье.

ВОЗВРАЩЕНИЕ

Снег тает, вода уходит в землю, и под теплым взглядом солнца из земли растет все живое, как под взглядом Лары Ратчадемноен растет к небу душа Дани Нараяна и как под взглядом Дани Нараяна растет душа Лары Ратчадемноен. Талая вода заставляет подземных духов, приставленных к каждому росточку, начать свой нелегкий труд: помогать нежным стебелькам прорасти через согретую солнцем землю. Также к Ларе и Дане приставлено по ангелу-хранителю, и эти ангелы тихо сидят у изголовья кровати и ловят легкий ритм дыхания своих подопечных. Лара начинает дышать чуть глубже и чаще, когда Даня гладит ее по животу, касаясь ее спины и ягодиц своим животом, и слушает, ловит ее дыхание, и его дыхание учащается, становится быстрее и глубже, и сердце бьется чаще, и Лара чувствует это, и ее дыхание учащается и становится глубже и чаще, и кровь бежит быстрее, и ритм все нарастает, но нельзя, чтобы он слишком уж возрос, поэтому вместе с дыханием, перерастающем в тихие стоны и нежные слова, высвобождается разгорающийся огонь. Но, высвободившись из одного тела, огонь

переходит к другому, вливается в него через уши, глаза, кожу, и ритм неминуемо убыстряется, и тихие стоны все громче, и пространство вокруг двоих электризуется, и искры летят в разные стороны, как будто с разворошенной постели льется на пол расплавленный металл. И когда разгоряченные тела, взорвавшись серией огненных вспышек, постепенно остывают до своей обычной температуры, ангелы, укрыв влюбленных невидимыми крыльями, слушают, как Даня Нараян, утонувший в потоке образов своей души, тихо говорит:

— Я как будто чувствую запахи и слышу звуки тайского портового городка, стоящего на границе с Бирмой. Влажность и жара наваливаются сразу, как только ты выходишь из кондиционированного салона автомобиля. Запахи стоялой воды, морепродуктов, пряностей, сладостей и острого рыбного супа почти сбивают с ног. Немного подташнивает после поездки по холмам, вдоль прозрачных каменных речушек, мимо почерневших храмовых обелисков и покинутых особняков с тайскими привидениями. Ты пытаешься справиться с подступающей тошнотой, наклоняясь ближе к земле, упирая руки в колени, и отстраненно наблюдаешь за тем, как в обшарпанных доках суетятся люди: раскладывают на льду крабов и креветок, ходят вокруг огромной — в два человеческих роста —

рыбы, подвешенной на крюк, грузят какие-то ящики в новенькие нарядные фуры.

Причал переполнен длинными моторными лодками с шумными, как перфораторы, моторами. Банки от пива и обертки от шоколадных батончиков плавают в зеленоватой воде. Берега узких заливов облепили рыбацкие дома на сваях. Их стены, балконы и ставни потрепаны морскими ветрами и изъедены солью, а уходящие в воду сваи, покрыты уродливыми наростами ракушек.

Концентрация жизни здесь зашкаливает, как будто на берег нахлынули окружившие городок джунгли, со всеми своими лианами, животными, насекомыми и деревьями, чья главная и единственная задача — расти и размножаться как можно быстрее во что бы то ни стало. Нахлынули, но были отброшены назад морем вместе с его жуткими водными и земноводными обитателями. И люди из городка — посредники миров — построили свой форпост на этой беспокойной границе и выписывают пропуска, продлевают визы, ставят штампы на лоб гигантским лобстерам, тигровым креветкам, пятнистым рыбам, водным буйволам, обезьяньим королям или каким-нибудь огромным, переваливающимся при ходьбе деревенским индюкам. Штрафники оказываются на рынке морепродуктов, в супах и подливах местных лоточников.

«Господи, надо сматываться», — думаешь ты, пряча свои клешни поглубже в карманы полинявших, выгоревших на солнце шорт.

И уже через восемь часов ты с облегчением пытаешься настроить неработающий кондиционер в эконом-классе авиалайнера Air Asia, где не кормят обедами и стюардессы не замечают происходящего, словно буддийские монахи во время медитации.

Ты видишь, как под крылом самолета из-под облаков появляются Гималаи. Приземлившись, ты почти пропадаешь в хаотичных завихрениях города, где призрак князя Кропоткина ходит по шумным улицам и утирает бородой слезы умиления. А потом ты оказываешься среди льдов, камней и ветров на Крыше мира, где наконец можно поздороваться с Богом и пожаловаться ему на тяготы житья в портовом тайском городке или на то, что в Сибири слишком медленно наступает весна.

— Ничего, ничего, — слышится тебе откуда-то сверху. — Это все ненадолго. Скоро увидимся. Пока.

— Чего это? — с недоумением переспрашиваешь ты. — Это что, твое Послание? За этим я лез на Крышу мира?

— Вообще непонятно зачем ты сюда лез, — отвечают из-за облаков. — Небо и в Покхаре, и в Ратонге, и в Морозово одно и то же.

И Лара в полусне гладит Даню по лицу, а он счастливый как дурак, потому что вернулся со встречи с неизречимым белым светом, спокойным и удивительным. Этот свет чувствовался, когда Даня был в Гималаях, чувствовался задолго до Гималаев во снах и был виден и ошутим только что, когда взгляды Дани и Лары стали одним целым. И Даня вспоминает, что знал об этом свете даже в снегах русских степей, огороженных заборами с колючей проволокой и рассеченных разбитыми дорогами, на которых дорожные знаки все как решето от ружейных выстрелов. Охотники выходят у каждого такого знака из какой-нибудь старой, дребезжащей сверхпроходимой машины и на спор соревнуются, чья двустволка бьет кучнее. К этому здоровому соревнованию подключаются молодые ребята с ближайшего полигона и лупят из «калашей» в те же дорожные знаки (как их отцы лупили из тех же «калашей» по ларькам предпринимателей-конкурентов), и за всем этим скрыта тайна русской души, которую не всегда легко понять не только иностранцам, но даже и самим русским. И чтобы дойти до этой тайны, нужно годы идти по горло в снегу мимо полуразрушенных сел, где родители пропивают материнский капитал, а их дети, как маленькие зверьки с чумазыми мордочками, пугают круглолицых дяденек, проезжающих мимо на огромных блестящих внедорожниках. Дя-

деньки хватаются за сердце, замечая в последний момент, как появившееся из ниоткуда чумазое худое существо, блестя огромными дикими глазенками, бросается почти под колеса внедорожника, просто потому что ему очень хочется посмотреть на огромный блестящий внедорожник.

И вот, какой-нибудь странник возвращается из своих странствий в дырявых лаптях и с такой изношенной сумкой для лэптопа, что в ней уже нельзя узнать сумку для лэптопа — так, рванина непонятная. Возвращается, и чумазые детки смотрят на него, как на блестящий внедорожник, и показывают знаками и возгласами, чтобы он зашел в гости к их бабушке, потому что у родителей давно уже нечего ловить. И странник принимает это странное приглашение, а бабушка глухая, подслеповатая и почти не ходит, но, кое-как разглядев странника, вспоминает что-то давно забытое, и взгляд ее меняется немного, но виду она не показывает, просто предлагает ему поесть чего-нибудь, что Бог послал, какой-нибудь побитой морозами картошки, а странник ничего вкуснее не ел в жизни, и благодарит ее от всей души, и впервые за долгое время отдыхает. Бабуся смотрит на него подслеповато и спрашивает:

— И чего, сынок, лучше *там* живется-то?

— Да кто его знает. Бывает, родители на внедорожниках ездят, и дома у них как дворцы, а дети

все равно бегают беспризорниками, хоть и одеты получше, конечно, чем у вас. А если без одежды — такие же дикие и чумазые.

Бабуся не понимает ничего: молча сидит, теребя краешек темно-серой шерстяной шали, и внешне начинает рассказывать:

— Семья у нас богатая была, и было в нашей семье шестнадцать детей. Это у меня, значит, было пятнадцать братьев и сестер. Восемь братьев и семь сестер: Марфа, Марта, Марья, Марина, Маргарина, Маша и Наташа. — Старушка как будто засыпает, потом просыпается и продолжает: — Митя, Мотя, Митрофан, Метроном, Метрострой, Метеорола, Марлен и Маргарин. Все теперь поумирали. Отец у нас был очень строгий, но справедливый. За столом когда сидел, если кто вперед него в чугунок ложку запуская, бил того по лбу, а если протестовать попробуешь — в погреб сажал. Ел всегда первый, пока досыта не наестся, — все-таки он глава семьи был. Иногда нам тоже кое-что доставалось, если вели себя хорошо. А если нехорошо, то и не доставалось. Он следил за всем, и когда ему не нравилось что-нибудь, бил по лбу или в погреб сажал. Но вообще, с ним было спокойно жить, хоть и тяжело. Того, что сейчас творится, при нем бы точно не было. Отец все-таки. Без него вообще бы все умерли.

Митя, Мотя, Марфа, Марлен и Маргарин маленькими были, потому что в школу ходили. Не

знаю, что с ними стало. Они как выросли — из дому сбежали. Нехорошо это, так я думаю. Метрончик с голоду еще в детстве помер. Митрофан, Маша и Наташа — от простуды померли. Метрострой из лагеря не вернулся. Не из пионерского. Из другого. А остальные стали как отец. Детей своих так же воспитывали. Даже девочки. Марта, Марья, Марина и Маргарина — все были очень строгие. Чуть что, детей или мужа по голове били. Марта и Марина, правда, умерли от алкоголя, а Маргарина сгинула. Эти даже замуж не выходили, хоть дети и были у них. Ни с кем не уживались. Кто против что-нибудь говорил — всех ложкой по лбу и в погреб, как папа делал. Бывало, правда, и сами по лицу получали в ответ. Папа вообще-то был не самый строгий у нас. Люди сказывают, что бывает и похуже.

Бабуся засыпает и сидит нахохлившись, не давая признаков жизни, так долго, что кажется, будто она умерла. Затихшие чумазые дети сидят на печке, похожие на стайку домашних. Видно, что им очень понравилась история, и они упрямо и напряженно ждут продолжения. Самый маленький от напряжения пукает так громко, что глухая бабуся просыпается, медленно поднимает голову и, кое-как разглядев странника, спрашивает:

— Видал что-нибудь в мире-то, сынок? Что самое главное разглядел?

А он говорит:

— Любовь.

И она, прочтя по губам, едва заметно кивает и улыбается ему беззубым ртом.

И с этой непонятной любовью он идет дальше по селу, и видит, что не все так плохо на самом деле. Вот музей, вон там — Дом культуры. Под ногами — приятный после бездорожья асфальт, и странник с удовольствием останавливается у каждого цветника с георгинами и у каждого объявления, на котором написано что-то вроде «Спешите! В магазине „Лаванда“ сегодня распродажа новой коллекции пальто. Скидки!». И наконец, странник останавливается у большого магазина, рядом с которым в тени деревьев на лавочке сидят два пожилых мужчины. Их лица темны от загара. В глазах — летнее небо.

— Здорово, отцы! — здоровается странник. — Говорят, монастырь здесь есть.

— Есть, есть, — степенно соглашаются мужики.

— Погода нынче хорошая, — говорит один из них страннику. — По телевизору обещали, что постоит еще неделю-другую. Успеем урожай убирать.

— Стога подсохнут, — подхватывает его товарищ. — И грибов в лесах много, и рыбы в реках. Щука пошла.

— Я полтора десятка вот таких шукариков поймал.

— Да и утка пошла. Как, Алексеич, ружье-то стреляет у тебя?

— А как же! Знаешь, как кучно бьет. Кучнее, чем твое, поди.

— Ну, это мы посмотрим еще.

— Монастырь, — подсказывает странник.

Мужчины как будто не замечают его реплики, но петляющее русло разговора меняется.

— Давеча к монастырю бревна для строительства привезли. Отец Евгений давай с мужиками разгружать, а у Никитки бревно выскользнуло и прямо отцу Евгению на ногу. Так тот даже не мятнулся! Потом оказалось, трещина в кости.

— Говорят, жена от него ушла и дочку с собой забрала, поэтому он и стал монахом. Жаль мне его. Хороший мужик.

— А что, сильно старый монастырь? — вмешивается в разговор странник.

— Сто пятьдесят лет. Да ты сам посмотри — вон туда, за угол. Проходишь и налево.

— Отец Евгений там?

— Сегодня должен быть.

— Ложкой по лбу мне не влупит?

— Да кто его знает, — уклоняются от непонятного вопроса мужики.

— Спасибо, отцы!

Странник идет по нарядной улице и вспоминает, как шел сюда через бескрайние поля. Над этими полями в ночном небе уже отчетливо проступала Галактика, и над миром вставал Персей, держащий в руке голову Горгоны. Каждую ночь было видно, как Персеиды расчерчивали небо падающими звездами и в свете луны на ветру летел пух отцветшего бодяка и чертополоха. От этого пуха поля на рассвете были похожи на хлопковые поля Индии и Узбекистана, но от земли уже веяло холодом, и вода в реке поднялась, и кузнечики в траве стрекотали до поздних темных часов, и утки отправились на юг, и ястребы исчезли.

Странник видит белые стены монастыря с башенками по углам. Над огромными черными воротами пестреет византийская мозаика, на которой выложено изображение Христа с открытой книгой. В книге написана фраза на непонятном старославянском языке, можно только кое-как разобрать «любите друг друга».

Странник входит в ворота и ступает на каменные плиты прибранного двора. Справа у ворот стоит бочка, полная дождевой воды. Рядом вдоль стены тянется длинная поленница выше человеческого роста. У дома, где располагаются монастырские кельи, яркий цветник, пестреющий аст-

рами, петуньями, золотой розгой и рудбекиями. Впереди — высокие деревянные двери храма.

Внутри настолько тихо, что тишина звенит в ушах. На стенах висят старые иконы, написанные на досках. Некоторые рисунки полустертые, потемневшие от времени. Справа и слева из высоких сводчатых окон падают косые столбы света и как бы подпирают здание храма изнутри. Видно, как пылинки вспыхивают в лучах солнца, вplывая в эти световые колонны, и потом снова исчезают в полумраке.

Странник медленно идет по кругу, ненадолго останавливаясь у каждой иконы. Со стен на него смотрят сердитые ангелы с огненными мечами; Святое Семейство, приглашающее войти в свой шатер каких-то путешественников на верблюдах; Дева Мария с почерневшим от времени лицом в короне, увенчанной звездами; другая Дева Мария, у которой глаза как будто скрыты тончайшим покрывалом, но на самом деле просто краска немного истерлась.

Все эти образы звучат, во много раз усиленные древностью икон, тишиной храма, легчайшим звоном в ушах.

Странник выходит во двор и замечает высокого мужчину лет тридцати пяти, худощавого и подтянутого, с длинными темными волосами и окладистой бородой.

— Вы отец Евгений?

Несколько секунд мужчина оценивающе смотрит на странника, и у того почему-то начинает чесаться лоб. Однако странник стоит спокойно, выдерживая взгляд холодных серых глаз мужчины, который не улыбается, чтобы сгладить возможную неловкость, не говорит ни слова, а просто кивает и продолжает смотреть.

— Вы не расскажите мне про некоторые иконы?

Монах обдумывает просьбу, а потом просто поворачивается и идет к храму. В его походке чувствуется прямота и уверенность. Странник следует за ним.

— Вот здесь ангелы, — начинает экскурсию отец Евгений. — Их для удобства изображают маленькими, но на самом деле размах ангельских крыл достигает десяти метров, а скорость выше, чем у реактивного самолета.

— Понятно, — серьезно кивает странник. — А это кто? Серафим?

— Да. Он охраняет вход на небеса.

— А вот эти бородатые ребята — праведники?

— Да. Они возносятся к светлым чертогам.

— А серафимы закрывают свой лик крыльями, чтобы их свет не уничтожил человека?

— Для неподготовленных людей этот свет опасен, — почему-то немного смягчаясь, говорит отец

Евгений. — Свет ангелов — для иноков, свет иноков — для мирян.

— Если я закричу, кто услышит среди ангельских чинов? — тихо говорит странник как бы самому себе, но отец Евгений так же тихо заканчивает:

— А и если один из них примет вдруг к сердцу мой крик — содрогнусь.

Мужчины молча наблюдают за движением пыли в столбах света, и странник наконец спрашивает:

— Над воротами заметил изображение Спасителя с книгой. Его завет исполняется? Люди любят друг друга?

Отец Евгений задумчиво смотрит сквозь световые колонны, подпирающие храм, и как бы нехотя отвечает:

— Стараются. — И, помолчав немного, добавляет: — Здесь время течет медленнее. Иногда кажется, что люди не отошли еще от травмы Гражданской войны, передающейся через поколения, — все ищут каких-то врагов. Но ведь не может глаз сказать руке: ты мне не надобна; или также голова ногам: вы мне не нужны. Часто люди в непохожих убеждениях видят опасность, причем с какой стороны ни посмотри. А на самом деле и либералы, и консерваторы, и городские, и деревенские делают одно дело. И цель

САДЫ ЯБОНЕВНИ

у них одна. Все хотят быть счастливыми. Хотят, чтобы в стране хорошо жилось. Но пока люди почему-то не научились вести человеческий диалог. Кидаются друг на друга, как дикие животные.

— А вы за кого? За правых или за левых?

Отец Евгений смотрит какое-то время на странника, отводит взгляд и говорит:

— Я молюсь за тех и за других.

ГОЛЫЙ ЗАВТРАК

— Сегодня у нас по плану вечеринка, — предупреждает Ратчадемноен. — Ребята вернулись — год их не было.

— Не суетись, дорогая.

Лара готовит завтрак голая. Она оборачивается и говорит через плечо:

— А ты не забудь.

— Тогда поцелуй меня.

— Ну, нет, — возражает Лара. — Поцелуешь его, потом из кровати все утро не вылезешь.

— И что такого?

— А завтракать кто будет?

— Я бы лучше тобой позавтракал.

Лара выключает плиту.

В полумраке комнат, где проходит вечеринка, по стенам движутся странные блики, хотя горят только ночной светильник, два монитора на столе и гирлянда, мигающая в такт музыке. Волны света перетекают в полутьме, как будто само сознание загорелось изнутри или воздух стал словно зажженный спирт. Движение блуждающих огней подчинено своим собственным непостижимым за-

конам. Когда смотришь на светящиеся диоды гирлянды, то они закручиваются разноцветными вонючками, но если прислушаться к музыке, которая играет из компьютерных колонок, к звукам голосов и смеху, все возвращается на прежнее место и сполохи огня исчезают. Становится как-то по-другому светло. Луна, что ли, так ярко светит? Иногда кажется, что эхо подземных царств звучит среди теплых голосов друзей, но потом Ратчадемноен смеется, и все меняется. Ею хочется любоваться бесконечно.

— Мы никогда не будем прежними, — говорит она шутливо, поднимая бокал вина.

В области сердца как будто что-то щекочет, или, может быть, это подрагивают слабые электрические разряды. Хочется смеяться. Хочется говорить и слушать.

Друзья рассказывают о Сикстинской Мадонне:

— Она огромная. Вот такая.

Гости сгрудились у пустой стены, по которой движутся сполохи синего пламени, и среди этих сполохов проступает Мадонна с младенцем. Мелодика общего смеха усиливает электрические разряды, прилившие к сердцу.

— Все нормально, — напоминает Даня сам себе. — Сикстинская Мадонна, смеющиеся друзья, Лара Ратчадемноен — все они как проекции луч-

шей части моей души. Все это исчезнет, как не было. Все это сохранится навсегда и будет повторяться бесконечно. Все это останется фотографиями в семейном альбоме Господа Бога. Он где-то здесь, на этой вечеринке: пляшет сполохами на стенах, дробится смехом и взглядами, поднимается приятным холодком вверх по позвоночнику, взрывается электрическими хризантемами в мозгу, спускается обратно к сердцу сияющим серебряным водопадом. Столько времени его покой охраняли хищные змееподобные существа и обезьяньи короли с жертвенными ножами из черного обсидиана, но сейчас они притихли, расселись по местам в глубине души — как на ступенях старого обветренного субургана — и зачарованно смотрят на серебряные водопады. Свет оплетает позвоночник, разрушая великие стены, сбрасывая с тела доспехи мышечных зажимов, разжимая сжатые до скрипа челюсти, размягчая сердце, остекленевшее, как вулканическое стекло. Для него нет преград. Нет ничего невозможного. Целые народы со своими мышечными зажимами и остекленевшими сердцами подчиняются ему. Даже если они годами находятся в напряжении, как перед последней атакой, и их общие ценности искажены давними незаживающими ранами. Все это исправится со временем. Мы обречены проработывать личные и коллек-

тивные травмы, пока подземные царства не опустеют.

Сикстинская Мадонна подмигивает Дане и исчезает. Ребята садятся обратно за стол, едят и разговаривают. Даня чувствует тепло от выпитого вина. Кровь приливает к его лицу. Нить общего разговора ненадолго ускользает от него, и когда он снова начинает слушать, ухватывает только конец фразы:

— Иногда бывает, что государство ломает человека.

Ратчадемноен, которая, похоже, находится в теме, отвечает:

— Иногда бывает, что человек меняет государство.

Даня думает о том, что иногда целые народы пропадают бесследно, забрав с собой свои тайны.

Пропадают короли, священники, Генеральные штабы, издательства, университеты. Пропадают библиотеки, оцифрованные библиотеки, высокие технологии и животные из Красной книги. Пропадают поезда, Акутагава Рюноскэ, Вирджиния Вульф и девочка с мандаринами. Исчезают родители, влюбленные, сады ябоневни и маленькая птичка.

Вечеринки всегда заканчиваются. Гости уходят.

ВАСИЛИЙ ЛАБЕЦКИЙ

Даня и Лара когда-нибудь уйдут.

Пророчества прекратятся, языки умолкнут,
и знание упразднится.

Но кое-что никогда не перестает.



ОГЛАВЛЕНИЕ

Золотой песок на дне	3
Поезда	7
Конец железнодорожной ветки	10
Золотая Орда	13
Китайское путешествие	18
Владыка смерти	22
Странник	26
Пустыня выживания	31
День именинника	36
Поворот на закат	42
Сад ябоневни	46
Ангел	52
Отплытие	56
Прибытие обезьяньего короля	61
Враг человечества	65
Музыка	69
Летний день	74
Живая темная планета	78
Темное Сердце Ночи	81

ОГЛАВЛЕНИЕ

Огненные знаки на колесе времени	84
Nuit de Noel	90
Яблочный пирог	93
Образы ненависти и грядущего опустошения	96
Волхвы	101
Потерянные царства	108
Как никогда хорошо	117
Возвращение	122
Голый завтрак	137

Литературно-художественное издание

ЛАБЕЦКИЙ Василий Петрович
САДЫ ЯБОНЕВНИ

Проект осуществлен
по заказу Лабецкого В. П.



Знак информационной продукции
(Федеральный закон №436-ФЗ 29.12.2010 г.)

В оформлении издания использованы иллюстрации
Уржуицевой Т. Г.

Формат 80×100/32
Гарнитура «CharterITC»
Усл. печ. л. 6,66



ISBN 978-5-600-01526-5



9 785600 015265